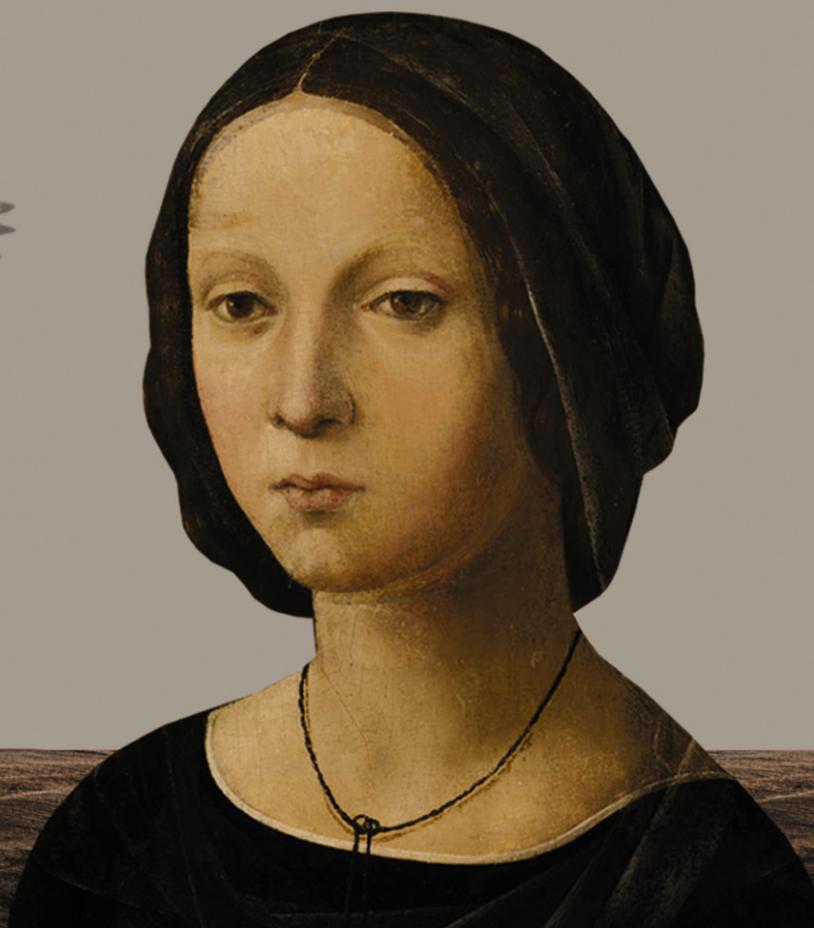
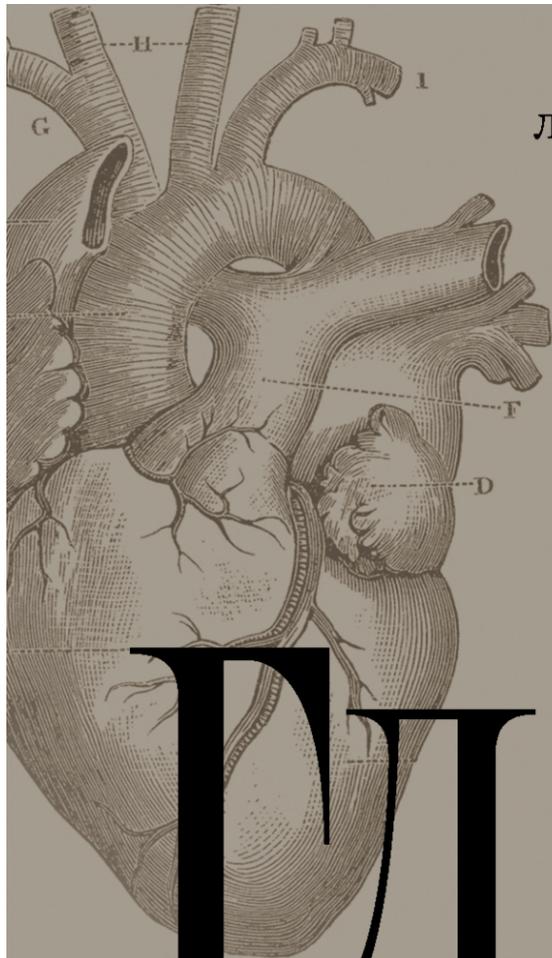


ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ “БОЛЬШАЯ КНИГА”

Марина
Степнова

ИДЕ-ТО
ПОД ГРОССЕТО

Рассказы



Марина Степнова
Где-то под Гроссето

«Издательство АСТ»

2021

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Степнова М. Л.

Где-то под Гроссето / М. Л. Степнова — «Издательство АСТ»,
2021

ISBN 978-5-17-127447-4

Марина Степнова — лауреат премии “Большая книга”, автор романов “Сад”, “Женщины Лазаря”, “Хирург” и “Безбожный переулок”. В сборнике “Где-то под Гроссето” — истории о людях, которых не принято замечать, да и они сами, кажется, изо всех сил стараются остаться невидимками. Но их “маленькие трагедии” и “большие надежды” скрывают сильные чувства: любовь, боль, одиночество, страх смерти и радость жизни. Всё то, что и делает нас людьми.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-127447-4

© Степнова М. Л., 2021
© Издательство АСТ, 2021

Содержание

Тудой	5
Письма Диккенсу	11
Боярышник	18
Бедная Антуанетточка	24
Романс	31
Старая сука	42
Татина Татитеевна	54
Варенье из каки	59
Дядя-цирк	63
Где-то под Гроссето	70
Там, внутри	78
Покорми, пожалуйста, Гитлера	86
Милая моя Туся	101

Марина Степнова

Где-то под Гроссето

Тудой

Она говорила – тудой, сюдой.

Поставь платочек на голову, простудишься.

Тут все так говорили.

Странное место.

После крошечного гарнизонного городка на Южном Урале всё казалось диким – школа в самом центре, рядом с оперным театром, сам оперный театр. Розы на улице. Огромные, лохматые, как спросонья. Абрикосы тоже на улице – и никто не рвет. Переспелые, шлепались прямо на тротуар – шерстяные оранжевые бомбы. С мякотью. Поначалу он не выдерживал, просто не выдерживал – набивал сперва полный рот, потом – полные карманы, неторопливые прохожие косились удивленно. Зачем рвать жерделу, мальчик, если на базаре за тридцать копеек можно купить отличную, просто отличную абрикосу? Лучше всех были ананасные – полупрозрачные, длинные, в зябкую крупную родинку. Действительно пахли ананасами, хоть и абрикосы. За такие, правда, просили копеек шестьдесят. Ведро вишни – пять рублей. Кило помидоров – пять копеек. Роза, почти черная, – тоже пять копеек. За штуку. Но это если маленькая, на невысоком тонком стебле.

Охапкой – в ведре.

Немыслимо!

Они бродили по базару, взявшись за руки, бездумные, счастливые, маленькие, как в раю. Пробовали всё подряд, тянули в рот мед, персики, груши, незнакомые слова. Она поучала, важничая. Переводила ему с райского на русский. Моале – это был мягкий сыр, белый, на вид совсем как творог, но пресный. Кушать надо с помидорами и с солью. Тут все говорили – кушать. Мэй, посторонись, ты что, не видишь – тут дети. Кушайте, кушайте, ребятки. Брынза – наоборот, соленая, твердая. Пористая, как котелец. Еще одно слово. Тут всё строили из котельца. Рафинадно-белый городок. А ему казалось – не из сахара, а из брынзы. Коровья была вкусная, а вот овечья далеко и густо пахла рвотой. Буэ-э. Гадость. Он так и не рискнул попробовать. Синими называли баклажаны, красными – помидоры. Даже не так – синенькие и красненькие. Тебе синеньких положить? Буро-серо-зеленая масса на тарелке. Печеные перцы. Укус. Сливовое повидло, сваренное в тазу прямо во дворе. С дымком.

Она говорила – повидла.

Повидлу хочешь?

Белый хлеб, сливочное масло, горячее сливовое повидло, сверху – грецкие орехи.

Слопать ломоть – и айда сайгачить по магале.

Еще одно слово.

Магала.

Россыпь карточных почти домишек, печное отопление, сваленный как попало человеческий сор, драный рубероид, саманные стены – крупный, спелый замес соломы, глины и говна. Хижины дяди Тома. Тенистые дворики заросли бусуйком. Мелкий синий виноград, курчавый, бросовый, душистый, вино из него давили прямо ногами, переливали, живое, багровое, в пятилитровые бутылки. Затывали заботливо кукурузной кочерыжкой. Называется – чоклеж. Нет, не так, чоклеж – это была полая кукурузная солома, звонкие пустотелые былки. Страшное оскорбление, между прочим. За чоклеж можно было и в дюндель получить. Не говоря уже про муля. Скажешь кому-то, что он – муть, всё, убьют. Она делала круглые глаза, наклонялась

близко-близко, так что он видел зеленые крапинки возле зрачков и волосы, светлые и темные вперемешку. Сливочное масло, медовая коврижка, какао с теплым топленным молоком.

Она жила на магале.

А он – в новой девятиэтажке. Сын советского офицера и врача. Гордость страны. Элита. Не белая, конечно, но бледно-бледно-серая прочная кость. Квартиру дали быстро – через полгода, до этого – снимали, мать была недовольна. Еще не хватало, деньги с книжки тратить. Гоняла отца ругаться, добиваться своего. Пойди и скажи, что тебе положено! А то опять раздадут всё своим нацкадрам! Это была первая республика, в которой они служили. Мать волновалась. До этого всё по РСФСР мотались. Все гарнизоны собрали. Есть на свете три дыры – Термез, Кушка и Мары. А теперь вот – получите. Кишинев!

Получили. Двухкомнатную. Набережная, 39, кв. 130. Первый подъезд. Шестой этаж. А им обещали дать свою квартиру, еще когда отец родился. Ее, разумеется, отец. Невысокий, щербатый, с заросшей сизой рожей. Вечно бухой хохотун. Вот уже и Вальке двенадцать лет, и старшой из армии вернулся, а всё ждем.

Валя.

Ее звали Валя.

Валя с магалы.

Тоже две комнаты – каждая метров по восемь. Глиняные полы. Прохладно. Мать, отец, Валя, старший брат, жена старшего брата, ихнее дитё. Так и говорили – ихнее дитё. Он даже не разобрался, мальчик или девочка. Поди разберись, когда так орет. К трем годам поняли, в чем дело, – даун. Да куда уж денешь? Пускай ползает, все-таки нямур. Родня. Через стенку жил такой же кагал нямуrow – двоюродных, стюродных, незнамо какая гуца на киселе. Все орут, ругаются, трясут кулаками, обливаются холодной водой из колонки во дворе. Юг. Магала.

Еще во дворе жили старые евреи, бездетные. Дядя Моисей, слепой на один глаз, скорняк – иголка выскочила из швейной машины, и всё, тютю. Но и с одним глазом кушмы такие шил, что очередь стояла. Из горкома приезжали даже. Шкурки болтались на веревке тут же, во дворе. Каракуль, смушка, смрад. Тетя Мина вынянчила по очереди всех дворовых младенцев – строгая. На базаре ее боялись. Вставала в воскресенье в четыре утра, в пять уже бродила среди прилавков, брала живую курицу, дула ей в попу. И вы за эту куру рубель просите? Не смешите! У нее же ж даже жопка не желтая! Валкий с недосыпа крестьянин хватал несчастную птицу, тоже дул ей в зад – сквозь бледные перья видна была кожа, не то желтая, не то белая – не разберешь. Тетя Мина втолковывала по-молдавски, какая должна быть настоящая, правильная кура, торговалась, пока продавец не уступал вовсе за бесценок, и она уходила, важная, выпив стаканчик вина, связка кур обреченно свисает головой вниз, в кошелке синенькие, красненькие, крепкие гогошары, бледный праж, боршч для замы. Он потом вычитал у Стругацких – боржч. Но нет, не то. Это был именно – боршч, кислый. Травка, которую добавляли в куриную лапшу, жирную, густую. Зама. С похмелья оттягивает – только в путь.

Ели вечером всем двором, на улице. Передавали тарелки, стаканы с вином, сдвигали табуретки, сверху – занозистая доска. Швыряли куски детям, кошкам, щенкам. Магала. Он тоже ел, сидел рядом с Валей, важный. Жевал с закрытым ртом, локти на клеенку не клал, говорил вежливо – спасибо. И – хлеб передайте, пожалуйста. Валина мать кричала через весь стол – вкусно тебе, женишок? Он кивал, стараясь не обижаться на женишка. Вкусно. Валя смеялась, болтала ногами, задевала его горячей коленкой, на правой голени – белый серпик шрама. Стеклом порезалась. Папка спяну стекло высадил, оно в кроватку и упало. Давно, мне два года еще было. Папка лыбился тут же, будто незнамо какой подвиг совершил. Мэй, винца женишку нацедите! Пусть выпьет. Мужчина он или нет?

Как приедем слабаку, вино ему разбавляли водой – марганцовка превращалась сперва в кровь, потом – в розовую акварельную воду. Домой он возвращался сытый, сонный, греб по линолеуму пыльными заплетающимися ногами. Отказывался от скучного, пресного ужина

– макароны с сосисками. Ни перца, ни вкуса, ни огня. Мама сердилась. Опять таскался неизвестно где! Отец, ну что ты молчишь? Отец поднимал глаза над “Правдой”, подмигивал еле заметно. Пусть себе гуляет. В доме было две “Правды” – мама тоже была коммунист. Заведующая отделением в больнице. Для души читали “Роман-газету”, “Литературку”. Ему выписывали “Костер”. “Вечерний Кишинев” еще ничего был. Можно в руках подержать.

А у Вали никто ничего не читал и не выписывал. Зато у них был телевизор напрокат. Он даже не знал раньше, что такое бывает. Напрокат! Хотел спросить у матери, но она отмахнулась. Не морочь мне голову. Нормальные люди телевизоры покупают. Напрокат только голытьба берет.

Еще одно слово – голытьба.

До школы было пешком четверть часа. По сонным улицам, почти деревенским, – сады, заборы, цепные псы. Они встречались на углу – Валя выныривала из своей магалы, махала ладошкой, варежкой, шапкой. Шапка была красная, с помпоном. Варежки тоже красные. На каждой – кривая, посеревшая от грязи снежинка. Обратно шли снова вместе – но уже не четверть часа, сколько угодно, болтали без умолку, забредали бог знает куда, в парки, прогулки, часами торчали у автоматов с газировкой. С сиропом – три копейки, колючая, горькая – копейка. Самое интересное было – мыть стаканы, вдавливать в специальное жерло, пока не брызнет вода или взрослые не погонят. Они удирали, хохоча, держась за руки, у нее всегда были горячие руки, маленькие, горячие, твердые. Двенадцать лет. Валя. Он просто хотел быть рядом. Всегда. Всегда быть рядом. Или умереть. Больше он ничего не умел. Двенадцать лет.

Мать заметила первая – и попробовала принять меры. Он ведь был отличник, всегда. Не зубрила, просто ясная голова плюс дисциплина. Мать проверяла уроки каждый день, садилась рядом, просматривала все тетради, фиг ошибешься или надуешь – врач. Если чего-то не знала сама, дожидались отца, он приходил поздно, вкусно скрипел ремнями. Запах казармы, такой родной, медленно вытесняли скучные ароматы главка. Отец делал карьеру, шел в гору, но скучал по своим гарнизонам, по пыльным плацам, бравым крикам, крепким, нацеленным на врага шишкам ракет. Алгебра, говоришь? Сейчас мы ее мигом расщелкаем. Вот сюда смотри, если это так, значит, это – непременно вот так. Хорошо объяснял, спокойно, понятно. Сам отличник боевой и политической.

Судьба.

А Валя была троечница. И магала еще эта. Дурная компания. Там же алкашня одна. Отбросы. Ты что, хочешь, чтобы твой сын сел в четырнадцать лет, да?

Еще одно слово – алкашня.

Отец не хотел, чтобы он сел, поэтому ходил в школу, к директору, поговорил, скромно сияя колодками, чтобы приняли меры. Мальчик станет офицером или врачом. Ему нужно заниматься. Ясная голова. Судьба. Дисциплина. Вы же понимаете? Директор, крупный, львиноголовый старик, получивший первую медаль еще под Сталинградом, понимал. Магала портила ему всю отчетность. Старшего Валиного брата он еле дотянул до восьмого класса и с огромным облегчением выпихнул. Настоящий, полнокровный debil. Ни ума, ни сердца. Потерпите, скоро выпускные, после этого обстановка сильно изменится. Можно, конечно, перевести вашего в параллельный класс. Отец вспомнил что-то такое далекое, не рассказанное даже жене. Воронежская область, Бобровский район. Наденька. И отказался. Пусть доучатся вместе.

Их просто рассадили.

Надвигался восьмой класс, рубикон, после которого агнцы, отделенные от козлиц, дошлифовывали свое будущее: учебники по программе первого курса, репетиторы, гонка на аттестатах зрелости. Козлица рассеивались по ПТУ, техникумам, формировали собой будущий обслуживающий персонал. Самые слабые опускались вовсе на дно, кое-кто с шумным криминальным плеском. Элои и морлоки. Выбор предстояло сделать в четырнадцать лет. Без двух лет взрослые люди.

Он тяжело страдал от того, что они теперь сидели не вместе, хотя в утешение его наградили лучшей соседкой из всех возможных. Света Воропаева. Первая ученица класса, первая же, как положено, красавица. Девочка с золотыми волосами, капризная куколка, обеспечивавшая бесперебойные поллюции всей мужской половине 8 “Г”. У нее был особый, из Прибалтики привезенный фартук, очень изящный, с большими крыльями из черного вдовьего газа, которые она вечно поправляла ловким передергиванием плечиков. Как дворняга блохастая, честное слово. Он, единственный свободный от морока, видел Воропаеву такой, какая она была на самом деле, – тощая, нескладная, белесая девица с выпуклыми и пустыми, как у котенка, глазами. Золотые локоны, обвившие столько сердец, были двумя жидкими косицами, не очень удачно прикрывавшими оттопыренные уши. Как-то раз она дотронулась до него, пододвигая толстенный учебник литературы – влажная, словно надутая, сизоватая клешня. Он дернулся от отвращения, и Воропаева, расценившая эту дрожь самым приятным для себя образом, победительно улыбнулась. Они были пара. Два лучших в классе ученика. Идеальная комбинация для статусной случки.

Валя, задвинутая на камчатку, на самые отдаленные отроги класса, отчаянно ревновала, даже ревела от злости. Их отношения словно обрастали стремительной плотью – вспухший крупный рот, носик, налившийся нежной прозрачной краснотой, вздрагивающие плечи, удивительно хрупкие. Будто живая бабочка под пальцами. Он обнимал ее – дружески, она враждебно отклонялась, и воздух от этого мгновенного прикосновения трещал от почти видимых электрических искр. Отстань, нечего! Иди Светочку свою лапай ненаглядную! Он тряс головой оскорбленно, словно ему предлагали полакомиться из помойного ведра. Они торопливо мирились и снова отправлялись бродить по городу, подгоняемые временем, которого становилось всё меньше и меньше, словно окончание восьмого класса должно было стать для каждого финальным рубежом, конечной станцией, за которой не будущее, а смерть. Теперь он хотел умереть не без нее, а за нее. Огромная разница. Четырнадцать лет – это не двенадцать.

Доруле. Еще одно слово. Не переводится. То, что я люблю и жалею больше всего на свете. То, что больше и лучше меня самого.

Переходные экзамены он сдал на отлично. Круглые пятерки. Он и Светка Воропаева закончили первыми в потоке. Валя, едва прохромавшая по этой сословной лестнице, отнесла свои скромные документы в профессионально-техническое училище номер восемь. Буду штукатуром, как мамка. Здравствуй, грусть.

На магале по этому поводу устроили огромный и шумный праздник – с фаршированными перцами, крошечными голубцами, плотно запеленутыми в виноградные листья. Еще одно слово – сэрамале. Тарелки на столе стояли в два ряда – как на свадьбе. Жареная свинина мирно соседствовала с кисло-сладким жарким из баранины, которое натушила тетя Мина. Впервые магала встретила его с холодком. Веселое, щекотное слово “женишок” не летало больше над столом, никто больше не хлопал его по плечу и не предлагал стакан вина. Все теперь были взрослые, всё понимали – и они с Валею тоже. Тогда он плесканул себе сам – не разбавляя, синего, густого, а потом еще мутно-белого, из шаслы, которая росла тут же, первобытно соперничая с бусуйком за место под простодушным и толстым кишиневским солнцем. Валя посмотрела сочувственно и взяла его под столом за руку – ладонь у нее была всё такая же, маленькая, горячая, твердая. Хоть что-то не менялось в медленно кружащемся мире. Хоть что-то в нем было навсегда.

Домой он вернулся за полночь, уже даже не пьяный, вообще никакой, небелковая форма существования тел. Мама плакала, придерживала его голову над унитазом. Какой ужас! Ужас! Отец, ну скажи хоть ты! Ему же всего четырнадцать лет! Нашатырю разведи ему лучше, – посоветовал отец, семейные трусы из черного сатина, крепкие ноги, никакого пуза. Полковник на генеральской должности в сорок лет. Пусть протрезвеет немного, поспит, а завтра поговорим.

Кровать крутилась, всё крутилось вместе с ней и вокруг нее, огненными пятнами вспыхивали в темноте слова – муть, гольтмба, епураш, гогошары. И еще почему-то тихим, испуганным шепотком бормотала на самое ухо Валя – нет, не сюдой, глупый, не сюдой, тудой. Потом Валя заплакала, превратилась в маму, и вообще всё исчезло, без следа, словно голову ему быстро и мягко погрузили в непроницаемую чернильную жижу.

Пробуждение не хотелось вспоминать и через тридцать лет. Половина жизни прошла, господи. И никто не знает, большая или меньшая. Они все победили его, жизнь победила. Шуточки, как сказал отец, кончились. Пришло время выбирать. Он выбрал медицину и весь девятый и десятый классы просидел над химией и биологией, которые не особенно и любил. Отец откровенно обиделся, мать гордилась. Оба и не догадывались, что дело не в семейной династии, а в самом обычном медицинском институте, который был в Кишиневе, в отличие от военного училища. Выбери он службу – пришлось бы ехать учиться черт знает куда. Далеко от Вали.

Они встречались теперь всё реже, всё суше – новых слов становилось меньше, старые стремительно утрачивали вкус. Он боялся спросить про шепот, про ту ночь: было или не было? Она молчала, ПТУ придало ей неожиданной надменности, словно она не на штукатурку училась, а готовилась к восшествию на престол. Он остался школьником в синей форме, она уже умела класть плитку. Пятнадцать лет. Колготки из толстого дешевого капрона, туфли на небольшом, но все-таки каблуке. Лифчик, мама дорогая, настоящий лифчик, розовые бретельки которого она и не пыталась поправлять. Какой-то Гена, который умел курить взятяг. Что он мог предложить взамен, кроме выученной наизусть формулы фенилаланина? Теперь они ходили разными дорогами и в разное время.

Под Новый год он выпросил свидание – на магалу его больше не приглашали, телефона у Вали не было, пришлось караулить возле ПТУ. Будущие маляры и штукатуры, галдящий молодой пролетариат. Цыканье, цуканье, харчки, матерки. Он спрятал в карман дурацкую шапку, чтобы выглядеть хоть немного взрослее. Валя вышла с невысоким кривоногим орангутангом, усатым, на толстых плитах щек – самая настоящая крепкая щетина. Хочешь в парк Пушкина? Она согласилась с легким вздохом, как уступила бы ребенку, который канючит надоевшую сказку.

Они шли по аллее Классиков – два ряда продрогших бронзовых бюстов. Михай Эминеску, Василе Александри, Ион Крянгэ, бог еще знает какие столпы молдавской литературы, которой, если честно, никогда и не было. Говорили, что если посмотреть в профиль на Эминеску, то окаменевшие пряди его навеки откинутых волос составят профиль уже самого автора памятника. Всадник с двумя головами. Классики провожали всех желающих к самому центру творческого мироздания – к памятнику Пушкину, опекушинской, между прочим, работы. Маленький, грустный, курчавый. Он решил, что поцелует ее в первый раз именно тут – в сквозном бесснежном парке, под сенью и синью декабрьского вечера. Но сначала стихи. Доамне фереште, стихи! Всем нам когда-то было пятнадцать лет. К несчастью, это очень быстро проходит.

Она смотрела в сторону, в глубину, сквозь голые черные ветки, и в самой середине строфы вдруг сказала – жалко, что “стефании” зимой не продают, правда? “Стефания” – сладкие параллелепипеды, щедрые слои абрикосового джема, бисквита и шоколадной глазури. Все пирожные стоили 22 копейки, а “стефания” – 19. Еще одно слово – последнее.

На выходе из парка он попытался взять ее за плечи. Напрасно. Всё напрасно. Десятый класс он заканчивал уже в Москве, отца, с отличием расцелкавшего Академию Генштаба, перевели в столицу, о чем родители, лопааясь от гордости, сообщили за новогодним столом. Вершина пищевой пирамиды. Самая высшая эволюционная ступень. Отец с праздничной салютной пальбой откупорил шампанское, потянулся зеленым горлышком к бокалу сына – пусть, пусть, он теперь взрослый, можно. Это на материн испуганный взгляд. После той далекой

ночи она подозревала в нем будущего алкоголика, позор семьи. Умрешь под забором! Пусть. Лишь бы Валя. Не без нее, не за нее. Вместо.

* * *

Тридцать лет спустя он попал в Кишинев на пару дней, проездом. Другая страна, другой город, другой язык. Колючая ледяная латиница до неузнаваемости изменила круглый ласковый лепет его отрочества. Таксист, узнав, что он из Москвы, долго и сварливо жаловался на жизнь, вспоминал Советский Союз. Вот было времечко! Всё просрали, гады. Посмотрел, ожидая сочувствия. Он отвернулся к окну. Гады были они с таксистом, других просто не существовало. Не стоит и искать. Улица Набережная чудом сохранила имя, всё остальное невозможно было ни выговорить, ни узнать. Армянская, Болгарская, Пушкина, проспект Ленина. Все они умерли. Все. Осталась одна Валя.

Он свернул на ощупь, наугад, потом еще раз.

Магалы не было.

Старуха, всё та же, кишиневская, важная, вышла из подъезда новой многоэтажки с ведром, полным воды. Газон зарос крепкими крестьянскими помидорами, болгарским перцем. Одурающе пахло горячей ботвой. Он спросил так же, как шел, – наугад. Первая попавшаяся улица его детства. Дружбы двадцать один. Воронеж. Тула. Брянск. Барнаул.

“Нет, милый, – сказала старуха на южный распев. – Это тебе не сюдой. Это тебе – тудой”.

И показала рукой – куда именно.

Письма Диккенсу

Конечно, глупо было приезжать в Лондон на две недели.

Но и оставаться на все новогодние праздники в Москве, если ты не ешь салат оливье, не запускаешь петарды и лет десять уже не включал телевизор... Нет, упаси боже, я не сноб. Просто не умею попадать в такт общей радости. Да и вообще в такт – это не про меня. Если считать высокие адаптивные способности одним из основных признаков человека разумного, то я вовсе не человек. Последний раз мне было по-настоящему хорошо и спокойно, когда меня, первого из класса, приняли в комсомол. Мне четырнадцать лет, ВХУТЕМАС – еще школа ваянья... Синяя школьная форма, залоснившаяся на заднице и локтях; синие пятна прыщей на взмокшем от новенького нимба лбу; в последний раз взвившиеся кострами синие ночи. Крошечная кровавая капля комсомольского значка, смуглые сиськи Ленки Бардышевой, натянувшие белую рубашку из “Детского мира”, острое чувство сопричастности, весь многомиллионный советский народ.

– Что тебе надобно, старче?

Мне? Тысяча девятьсот восемьдесят четвертый год, пожалуйста.

Отвали и не задерживай очередь, идиот!

Конечно, Лондон оказался ужасным, но в Москве я бы просто свихнулся от ожидания.

* * *

Кингс-Кросс, отель “Нортумберленд”, тот самый, где у злосчастного сэра Генри украли ботинок. Сначала, как водится, “Колобок”, потом – “Три медведя”, “Айболит”. Но рано или поздно дело дойдет и до старины Холмса. Узкий дом серого кирпича в ряду таких же, стиснутых, как зубы. Стеклопанельная дверь. Я вхожу, стряхиваю с волос поросль капель. Стоп, еще одна цитата! Отвяжись, я тебя умоляю! Пожалуйста, и еще одна. В крошечном фойе темно, как во времена газовых фонарей, и пусто. Восемь утра. Ночной перелет. Сейчас только упасть, достать чернил и плакать. Роняю на пол рюкзак, откашливаюсь, сильно, до хруста, тру уши. Никого. *Sorry*, – говорю я громко, и двойное короткое “р” прыгает по прихожей, как град по подоконнику. Что я буду делать, если ему не понравится Булгаков? Что я вообще буду делать, по правде говоря?

Она поднимается из-за стойки, где, оказывается, спокойно сидела всё это время, невидимо наблюдая за моими ужимками и прыжками, – и я сразу остро чувствую себя тем, кем, собственно, и являюсь: сорокалетним сутулым неудачником в джинсах, захлестанных грязью до самых колен. Она такая красивая, что этого просто не может быть. Невероятная. Вся – узкая и одновременно круглая. Узкая, круглая талия, узкие длинные пальцы, неожиданно тяжелая, взрослая грудь, едва уместившаяся на узкой грудной клетке. Синеватые белки, синеватая кожа, идеальной лепки круглая гладкая голова на узкой и круглой шее. Губы такие, что стыдно смотреть. Негра. Жалкий интеллигент, я мысленно одергиваю себя за мысленную неполиткорректность, но немедленно – мысленно же – смиряюсь. Она действительно негра. Точнее просто не скажешь. Прачеловек. Идеальное существо. Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать. Арт-объект.

Секунду мы смотрим друг на друга, она – тяжело и недружелюбно, словно я представляю угрозу чему-то важному в ее жизни, чему-то особенно дорогому – может быть, сумочке или даже котенку. Я протираю очки, руки трясутся так, что самому совестно, и тяну из кармана неровно сложенный листок с регистрацией на “Букинге”. Здравствуйте, будьте так любезны, я забронировал номер... Негра не дает мне закончить. *Checkin* в тринадцать ноль-ноль. А раньше можно, видите ли, я только что с самолета, из Москвы? Нет. Москва не производит на нее

никакого впечатления. Она, конечно, права. Москва давно ни на кого не производит впечатления. А можно хотя бы?.. – спрашиваю я, поддвигая ногой рюкзак.

Негра молча выходит из-за стойки и открывает мне диккенсовскую какую-то каморку, забитую чуть ли не до отказа. Диккенс – это, конечно, была такая же большая ошибка, как Лондон. Письма за 1833–1854 год. Схватил с полки не глядя; собирался – Газданова. Не судьба. Нормальные люди вообще давно пользуются электронными книгами. Негра молчит, ждет. Юбка обтягивает ее бедра так, что поневоле думаешь о святотатстве. Тонкие сильные щиколотки, тонкий сильный запах, тонкие сильные каблуки. Нормальный человек давно бы пошутил, спросил, как зовут, пригласил выпить, ввернул бы, в конце концов, купюру с королевой. Нормальный человек вообще не приехал бы сюда на Новый год совершенно один. Я сую рюкзак к чужому туристическому бараклу и выхожу на серую мокрую улицу. Зонта у меня нет. У меня вообще ничего нет. А скоро и этого не будет...

* * *

К часу дня я едва держусь на ногах от усталости и ненавижу Лондон так, как он этого и заслуживает. Огромный, унылый, суетливый город, где никому и ни до кого нет дела. Все едят, торопятся и выпендриваются, многие – одновременно. Особенно нестерпимы фрики. Я провожаю глазами вальяжно плывущего господина, похожего на кустодиевский портрет Шаляпина – помните, тот, в огромной шубе на фоне тошнотворно засахаренной Москвы? Сходство усиливается брезгливыми брыльцами и круглой меховой шапкой. Только вместо грандиозной шубы – белый плащ, слава богу, хотя бы без кровавого подбоя. На ногах Шаляпина – резиновые вьетнамки, над ними парусят штаны нежно-розового, удивительно девичьего оттенка. Те самые панталоны цвета тела испуганной нимфы. Январь. Плюс восемь градусов. Грязно. Да перестану я цитировать когда-нибудь или нет?! Идиотская привычка. Всё равно что грызть ногти. Или глотать волосы. Да еще и не свои, а чужие.

Через дорогу спешит тощая крыска: лиловые колготки, мослы, пельмени вместо губ. Я даже не сразу понимаю, мальчик это или девочка. Но смотрит твердо, с вызовом, как и Шаляпин во вьетнамках. Мол, городской сумасшедший здесь ты, приятель. Ты, а не мы. В толпе кто-то глубоким баритоном хвастается, что завтра улетает в Нью-Йорк на премьеру тырым-пырым-парански. Не разобрал. Вау! – откликается спутник баритона с подобострастным восторгом: оба в гангстерских костюмах, оба на ходу пьют кофе из “Старбакса”, в руках у баритона – бумажный пакет на шелковых витых ручках. Баритон заботливо несет его так, чтобы громкий лейбл, вытисненный золотом на белом, видели все. Вау, вау, вау.

Я вдруг понимаю, что именно напоминает мне Лондон. Здоровенный, самодовольный, невыносимый *Facebook*. *Karma Ivanova*, филе палтуса (на теплой подушке из пряных трав) и *Vladimir Lischuk* сейчас на *Regent Street*. Фоточка на *Instagram* запечатлела всех троих, залайканных до блеска, безмозглых и совершенно счастливых. Хуже только “ЖЖ”. И еще “Одноклассники”. В “ЖЖ” притворяются умными. В “Одноклассниках” – молодыми. Всё это не для меня. Ненавижу выпендриваться. Не выношу социальные сети. Быть знаменитым некрасиво.

Ау? Никто не слышит? Я ведь уже говорил, что у меня проблемы с попаданием в такт?

* * *

Когда я возвращаюсь в отель, негры там уже нет. Сменилась. На ее месте сидит немолодая женщина с тонким лицом утомленного колли. Немолодая, впрочем, – это я загнул. Ей лет сорок: длинные носогубные складки, мягкие мешочки под грустными карими глазками. Ровесница. Торопливо встает, улыбается – и тут же стеснительно прикрывает рукой розовые десны, крупные, влажные, как голыши. Деревянный славянский выговор. Оказывается, мы

из Польши, преподавали в Варшавском университете экономику, теперь служим тут. Кризис. Плесень маленьких надежд на руинах великой империи. *A where are you from*, пан? Ах, не может быть! Совсем никакого акцента! Мы все так скучаем по великой Советской России. Очень, очень скучаем.

Не поверите, я тоже.

Я тащу по узкой лестнице рюкзак и чувствую, как она смотрит мне вслед. Я ей нравлюсь. А мне нравится негра. Это не потому, что она молодая, совсем нет. Такие, как негра, нравились мне и в восемь, и в восемнадцать, и в двадцать пять. Всегда. Ослепительные, злые, знающие себе цену, не знающие, что те, кто готов эту цену заплатить, вечно бродят по жизни с драчными карманами. Женщины-проблемы. Я вырос, проблемы остались. Интеллигентная колли из Польши наверняка умна, добра и до отказа набита душевными сокровищами. Но мне нравится негра. Я в жизни не спал с такими, как она. Да что там: я с такими толком даже не разговаривал. Надо смириться, наверно, как смиряются с крапивницей. Вы любите землянику? Я – очень. Горячая от солнца макушка, затекшие колени, эмалированный бидончик с черной облупившейся ранкой у самого дна. Квинтэссенция детства. Пахнет так, что голова кружится. Но даже от одной-единственной ягоды – каюк. Вздувшиеся пухлые расчески, зуд, отек Квинке. Лакомство, не совместимое с жизнью. Смирись и слушай свой полонез Огинского. Я смирился.

Комната крошечная: низкие потолки, узкие окна. Клетушка. Туалет похож на тесный лаз имени шаловливой Алисы. Разве что расположен горизонтально. Если открыть душевую кабину, на унитаза уже не поместишься. Я прикидываю – и выбираю душ. Во времена Диккенса пришлось бы обливаться из кувшина. И черт меня только дернул перепутать книги! Теперь придется две недели выслушивать его нытье вперемешку с безудержной похвальбой. Вот уж кто мигом вылез бы в тысячники и собирал миллионы лайков. Чарльз Джон Хаффем Диккенс.

* * *

Британский музей – большая и бестолковая свалка. Как будто ребенок опрокинул и рассыпал коробку с игрушками. С ворованными, кстати, игрушками. Но ведь ребенок! Какой с него спрос? Я брожу среди наваленных кучей ассирийских львов и египетских саркофагов – ни логики, ни смысла, ни чувства времени. Зато можно наповал убить первый из четырнадцати дней. В одном из залов на полу прямо сидит малышня – пухлые пятилетки, похожие на маффины всех стадий пропеченности: от густо-коричневого до совсем белого, тестяного. Вон тот, самый темненький, мог бы родиться от негры. Мог быть ее сын. Я с нежностью смотрю на плюшевую черную макушку. Нет, не плюшевую даже – махровую, как полотенце. Такой миляга! Миляга поднимает глаза и молча показывает мне толстенький средний палец.

Остальные озираются, разинув рты, слушают экскурсоводшу, которая трещит с такой скоростью, что даже я едва разбираю половину. А ведь я вообще-то синхронист. Вольный каменщик на строительстве Вавилонской башни. Привык ворочать глыбы чужой, гугнивой, едва членораздельной речи. Строить из них кружевные, осмысленные конструкции. Как правило, мосты. На большее я, к сожалению, не способен. Обычный мастеровой. Не творец. Нет, не творец.

Экскурсоводша продолжает трещать, высыпая на круглые маленькие головы сухой несъедобный горох: даты, даты, даты, каркающие имена. Сама косит на меня тревожными очками: ты кто такой? Давай, до свиданья! Чего застыл среди доверчивых лилипутов? Всё правильно, я бы тоже напрягся, если бы к моим (а уж тем более не к моим!) детям подошел какой-то мутный мужик средних лет – черт их разберет, этих интеллигентов. Что у них на уме. Уж лучше честный, старорежимный гопник. Так же смотрела тетка из опеки – всё настолько повидавшая, что уже даже не злая. Одинокий белый мужчина сорока лет традиционной ориентации, не женат,

не был, не был, не состоял. Каждый пункт анкеты – клеймо. В Америке с такими данными я вообще был бы изгой. Да и у нас, честно говоря...

Вы кого хотите? – спросила тетка, привычно, как в магазине, нет – даже как родственница, интересующаяся назревающим потомством дальней родни, хотя на самом деле ей пофигу метель. И охота же людям плодить спиногрызов! Девочку, – признался я, доверчиво лбясь, чистая душа. Я правда хотел дочку – маленькую, чтобы плести косички, расправлять воланы на платице (сзади чтоб непременно бант). Сандалики с божьими коровками. Вереница розовых барби. Будет тянуть за штанину, смотреть снизу вверх и говорить: Папа! Тетка тихо спросила: Вы с ума сошли? Кто ж одинокому мужику девчонку-сироту доверит? И посмотрела так, что я вдруг сам перепугался, до мокрой спины, чуть ли не до рвоты, того, что я, может, на самом деле извращенец, просто не знаю об этом, и вот теперь настал час, сработала некая программа – и маньяк внутри моего живота впервые ворохнулся, впервые шевельнул плечами, продираясь сквозь пленку моих человеческих желаний на свою омерзительную свободу.

Направление дали на мальчика. Да.

Видимо, мальчиков не так жалко.

* * *

Шаляпин в розовых панталонах, оказывается, мой сосед. Каждое утро, выходя из отеля, я встречаю его, шествующего мимо паба к вокзалу. Возле паба, кстати, частенько наблёвано: я выхожу рано, в час, когда алкаши уже разошлись по домам, а уборщики еще не появились. На мое приветствие Шаляпин не отвечает, и правильно делает. Как настоящий сумасшедший, он понимает истинную суть ежеутреннего *hello*, которым я спешу поделиться с ним, с газетчиком, с продавцом кебабов, с каждым, кого я встречаю на своем пути больше одного раза. Я ищу одобрения чужих людей. Оно мне необходимо. Жалкое существо... Даже юродивый это понимает. И как я собираюсь воспитывать сына? Зачем я вообще вляпался в это дерьмо? Это всё Настя виновата.

С Настей мы прожили почти год. Вернее, десять с половиной месяцев. Абсолютный рекорд продолжительности. Обычно мои отношения с женщинами не преодолевали двухнедельный рубеж. Так и должно быть, если берешь с тарелки, которая объехала всех гостей, не то пирожное, которое хочешь, а то, что осталось. Мне доставались обломки кораблекрушения. Самые некрасивые, самые пьяные, самые закомплексованные. Иногда – всё сразу, вместе. Больше пары свиданий не выдерживали ни они, ни я. Здравствуй, грусть. А Настя задержалась – маленькая, крепкая, молчаливая. Сразу вымыла у меня посуду, даже чистую. Перетерла, расставила, замочила полотенце со стиральным порошком. Сморщенные от горячей воды кончики пальцев. Рыхлая прохладная задница. Запах *Fairy*. На вторую встречу вытянула из сумки тапочки – новые, чудовищные, круглоглазые заячьи морды. С биркой. Посмотрела тревожно – мол, не возражаешь? Я промолчал. И она осталась.

Я привык неожиданно быстро. Не к быту, нет – готовил я сам отлично, куда лучше, чем она, да и вообще привык управляться с женскими делами лучше любой домохозяйки. Но вечерами, заходя во двор, я задираю голову и видел в окнах своей двушки свет. И это, оказывается, было важно. Настолько важно, что я честно старался не замечать, что за этот почти год Настя не взяла с полки ни одну из моих книг. Не хотела? Стеснялась? Читала что-то другое и в другом месте? Или просто была обыкновенная дура? Я не знаю; мы, если честно, вообще почти не разговаривали. Да и о чем разговаривать? Сорок лет. Пора наконец принимать взрослые решения.

Я купил букет, бутылку хорошего вина, подумал – и прибавил порто, темный, в крепкой увесистой бутылке: Настя любила всякую сладкую дрянь, тошнотворные ликерчики, гнусные крепленые вина – пусть наконец попробует хоть что-то по-настоящему хорошее. Подлинное.

Я имел в виду себя, конечно. Идиот. Знаешь что, а выходи-ка ты за меня замуж? Ребеночка родим. Залихватские ухватки приговоренного. Она выслушала, поводила пальцем по клеенке и спокойно ответила. Извини, но – нет. Ты парень хороший, но мне нужно просто в Москве пересидеть. Я замуж потом хочу выйти. По-настоящему.

* * *

Справки я собрал неожиданно быстро. На права бы так сдать – но после третьего провала с правами я мысленно распрощался. А ребенка – пожалуйста. Мальчика. Я же сказал, да? Мне дали направление на мальчика. В декабре я увидел его в первый раз.

* * *

Единственное, что делает Лондон выносимым, – это парки. Даже в январе они живые. Полно птиц, собак, детей. Народ стрекочет велосипедами, уничтожает сэндвичи. Диккенс бы сказал “уплывает”. Он не нравится мне всё больше, но я терплю. Давным-давно следовало бы купить что-нибудь вменяемое – умный детектив фунтов за пятнадцать: англичане делают отличные детективы и отличный сыр. Больше у них ничего хорошего нету. Но я загадал дочитать эту чертову переписку до конца, продраться сквозь несносную похвальбу, сквозь все причитания о международном авторском праве и покойной Мэри. Диккенс – это моя клятва. Я даже по улицам таскаю его с собой. Если выдержу – значит, всё получится как надо. Значит, его не заберут. И мой мальчик достанется мне.

По-честному, я видел его всего раза три – и не очень хорошо запомнил, потому что ужасно волновался. Мальчик и мальчик, трех с небольшим лет. Худенький. С некрасивой громадной головой в каких-то странных шишках, точно его колотили. Грудного я, честно говоря, побоялся. Я и этого-то боялся, но все-таки три с половиной года. Забуду покормить – сам, наверно, справится. Буду оставлять побольше хлеба, конфет – так, чтобы легко дотянуться. А ножницы – наоборот, убрать. И ножи. Все. У меня холодеют и мокнут ладони, когда я представляю себе, как он обрежется. Обольется кипятком. Упадет с лестницы. Нет, еще хуже: я возьму его на руки, споткнусь – и упаду сверху, всей тушей. Я физически чувствую хруст переломанных маленьких костей, болтается запрокинутая голова, скорая – нет, скорую не дождешься, пробки, я бегу в больницу сам, чувствуя, как бухает в груди нетренированное сердце.

Дверь, дверь, приемный покой.

Поздно, конечно.

Умер. Умер.

Я останавливаюсь, и меня рвет – белой, густой, горькой пеной, как будто я бешеный. Прямо на улице, в центре Лондона. Двенадцатого января. Шарахаются во все стороны прохожие. В глазах у многих – боязливое и брезгливое уважение: это надо же так нажраться в середине дня! Я ищу по карманам платок, потом вырываю страницу из Диккенса и вытираю липкий рот. У меня еще есть надежда. Через два дня я позвоню, и мне скажут, что мальчика забрали другие, нормальные, хорошие, взрослые люди. Которые знают, что делать. Которые знают как. Пусть мне так скажут, господи! Пусть. А еще лучше – я сам не позвоню. Спрячусь, сменю фамилию. Уеду. Квартиру можно продать.

В конце концов, я еще не брал на себя никаких обязательств!

* * *

Вечером в отель пришел кот. Толстый, круглый, с толстым круглым хвостом. Встал на задние лапы, сунул морду в стеклянную дверь, беззвучно мякнул. Вроде постучался. Полячка заахала, засуетилась, побежала открывать, словно кот был долгожданный клиент, выкупивший весь отель на полжизни вперед. Негра бы так не бросилась. Я видел ее пять раз. И ни разу не заговорил. Полячка извлекла из-под стойки пакет с кошачьим кормом, миску. Кот ждал с достоинством, которое и не надеешься встретить в человеке. Потом подошел к миске и деликатно захрустел. Вот, – сказала полячка. – Невероятно умный. Здесь десять отелей, представляете? Он обходит все. Каждый день? – не поверил я. Нет, – засмеялась полячка. – Не каждый. У нас он бывает только по средам и пятницам.

И тут я неожиданно спросил – а у вас есть дети? Она покраснела и засмеялась так, что забыла, что нужно прикрывать свои ужасные десны. И сразу стало ясно, что двадцать лет назад она была очень даже ничего. Почти хорошенькая. Конечно, есть, – сказала она. – Конечно. Сын, дочка. И даже внук. А как же иначе?

Действительно, как же иначе?

* * *

В первый раз его вывели ко мне на улицу в комбинезончике, круглого, валкого, как кегля. Сказали, вот, Витя, погуляй с дядей, и я огорчился, что имя такое плебейское – Витя. И еще они сказали – с дядей, а не с папой. Значит, сами не верят. Никто не верит. Даже я сам. Мы гуляли почти час, и я сперва лез к нему с какими-то сюсюкающими вопросами, за которые сам себя ненавидел, и всё пытался заглянуть ему под капюшон – мне показалось, что он косоглазый, и я так и не понял, так это или нет, – а он всё молчал, топал тупыми маленькими ножками, а потом вдруг осторожно взял меня за руку. Я даже остановился от страха, а потом почувствовал, что страшно устал, так что едва добрал до ближайшей скамейки и просто рухнул. Он сидел рядом – тихо, чинно. А потом пошел и принес мне кленовый лист. Надорванный, некрасивый, с отпечатком чужого человеческого копыта. Я выкинул его сразу же, как вышел за ворота.

Такие дела.

* * *

Сегодня я наконец-то дочитал Диккенса. Сплетник и самовлюбленный неврастеник. Называет детей – своих собственных! – милые малютки. Или это переводчик идиот? Надо посмотреть в Москве, как там в оригинале? Может, не так всё и плохо. Когда-то в школе я помирал со смеху, читая “Домби и сына”. Разве Джой Б. – брюква? Больше не помню из этой книжки ни одного слова. Значит, больше там ничего и не было.

Самолет у меня в 23:20, *check out* в отеле – в 12:00. Дождь. Еще одного дня в Лондоне, на ногах, я просто не вынесу. Завалиться в постель, закрыть глаза, спать, пока не приедет такси. Я спускаюсь вниз – всего-навсего заплатить еще за одни сутки; полячка, наверно, даже обрадуется – мы почти подружились. У нее, кстати, красивая дочь – скуластая, с крупным наглым ртом. Даже на фотографии видно, какая она замечательная дрянь.

Но вместо полячки внизу сидит негра. Золотая тоненькая цепочка стекает по ее ключицам, как струйка воды. Нет, я не могу доплатить. Нет, это не важно. Все номера в отеле заняты. Да, я могу жаловаться. Но она просит освободить комнату через двадцать минут.

Я управляюсь за пятнадцать.

Рюкзак, морось, голый облезший скверик, вокзал.

Шаляпин в меховой шапке, переступая чавкающими вьетнамками, стоит на переходе, дожидаясь зеленого сигнала светофора. Я машинально открываю рот, чтобы поздороваться, и не говорю ничего. Не дождетесь. Хватит. Надоело. Никакого Лондона, никакого Диккенса. Завтра утром буду в Москве, послезавтра – уже на работу. Счастье.

Я достаю мобильный, набираю телефон опеки. Никто не берет трубку, никто, никто, никто. Что ж, значит, это точно судьба. Верней, не судьба. Я договорился, поставил условия, очень простые. Дочитать Диккенса – я дочитал. Ответить на мой звонок – мне не ответили. И ладно. Значит, я совершенно свободен. Я прячу телефон в карман, тащу из рюкзака том переписки великого классика английской литературы и двумя пальцами, как дохлую крысу, несущую к ближайшей урне. Шаляпин и продавец кебабов смотрят на меня с интересом. Я мысленно считаю шаги: один, два, три. Я свою часть ритуала выполнил. Сдержал, как у Пантелеева, свое честное слово.

Облегчение лезет из меня, как пена из сифона. В детстве у нас был такой сифон – круглый, серый, сипатый. Баллончики к нему были страшным дефицитом. Не достать. Только теперь я понимаю, как это здорово – не бояться. Не бояться, что придется не высыпаться ночами. Вытирать ему попу. Не бояться будущего, в конце концов. Того, что, несмотря на все мои усилия и муки, гипофиз возьмет свое, сработает проклятый вейсманнизм-морганизм, и этот чужой некрасивый мальчик вырастет полиграфом полиграфычем шариковым, наркоманом, человеческим мусором и сбежит из дома в четырнадцать лет. Это вообще было обычное помрачение ума. Временное помешательство. Теперь я здоров.

Я бросаю Диккенса в урну – со всем его культом сиротства, газетными ухватками, невыносимым характером. Всю жизнь притворялся добрым, а сам издевался над бедным Андерсеном. Так покойся же с миром. Аминь.

Светофор мигает. Я поправляю рюкзак.

И тут у меня в кармане звонит телефон.

Тарасов Олег Анатольевич?

Да. Это я.

Тарабабабабаева, – не разобрал, – из чего-то там, – опять не разобрал, – беспокоит. Можете завтра забирать ребенка.

Какого ребенка?

Вашего.

Светофор горит таким зеленым, что больно смотреть.

Шаляпин легонько толкает меня в спину и недовольно бурчит – ну, чего пристыл?

Я смотрю, как он переходит дорогу, заметно прихрамывая: безумный дикий барин в розовых панталонах, потрескавшиеся грязные пятки, сутулая спина – как будто в будущее свое смотрю. И вдруг понимаю, что Шаляпин говорил со мной по-русски.

Я возвращаюсь к урне, вынимаю из нее Диккенса и догоняю Шаляпина до того, как он сворачивает в переулок.

– На, – говорю я тоже по-русски и протягиваю книжку ему. – Держи, отец. Это тебе.

Боярышник

Слово, которое я первый раз в жизни читаю вслух, – “мёд”.

Банка стоит на кухне – литровая, перевернутая, вся в солнечных липких напылах. Остатки мёда торжественно стекают по стеклянным бокам в заботливо подставленную пластмассовую крышку. Все до последней капельки. Мёд – дефицит. Я его не люблю. Мёд означает простуду, окрашенную в тревожные, праздничные тона: розовый тетрациклин, голубой больничный листок, багровый жар воспаленного горла. По горячему белому молоку плывут желтые медово-масляные разводы. Ухо стреляет ярким, лиловым, грозовым. Я рыдаю, отбрыкиваюсь от маминых проворных рук, нападающих со всех сторон с капельками, компрессом, стареньким пуховым платком. Примиряет меня с простудой только камфара. Она хорошо пахнет, полетному – сухо, жарко, и на самом дне этого горячего аромата стрекочут тоже горячие температурные сверчки.

МЭ. ЙО. ДЭ.

Тут написано “мёд”?

Мама оборачивается – невысокая, легкая, молодая. Руки у нее в фарше, фаршем полна миска – много-много красно-белых пухлых червячков. Я люблю котлеты (с соленым огурчиком), папа – суп с фрикадельками, старший брат – пельмени. Мама успевает приготовить для всех. Она вообще всё успевает: делать ремонт, стирать, два раза в день мыть полы и работать на полторы ставки. Мама – врач в медсанчасти. Как она скажет, так и будет. Это я знаю твердо. Все знают. Мама в доме главная. Зато папа защищает всю страну. Он офицер.

Тут написано “мёд”? Я показываю на банку пальцем, хотя меня уже убедили, что это неприлично.

Ты откуда знаешь? Тебе баба Маня сказала?

Баба Маня – наша соседка. Когда меня не с кем оставить, бабе Мане стучат прямо в стенку и она прибегает, сухенькая, остроносая, шустрая, крепко пахнущая потом, кислой капустой и рыбным пирогом. Пирог баба Маня делает с тюлькой. Тюльки, поджав ротик, смотрят из теста – каждая одним испуганным круглым глазом. У них даже хвостики целые! Мама не ест, брезгует, а мне вкусно. Бабе Мане сорок пять, и я очень ее жалею: такая старая. Мама дает ей рубль и говорит: “Посидите с ребенком, пожалуйста”. Посидеть – это просто такое слово. На самом деле мы с бабой Маней не сидим, а ползаем – по ковру, потом за креслами и снова по ковру. Играем в скорую помощь. Когда баба Маня устает и сдаётся, я делаю ей операцию. Аппендицит! Это мое любимое слово. Когда я вырасту, тоже обязательно буду врачом.

Нет, не баба Маня. Это я сама прочитала.

Мама хмурится. Не верит. Мне четыре года, я давно знаю все буквы, очень давно. С полутора лет. Но читать меня никто не учил. Бабушка считает, что учиться читать так рано – вредно. Бабушка – учительница и потому главнее мамы. Летом, когда меня отвозят к бабушке, мама слушается ее так же, как я. Даже еще лучше. С бабушкой не забалуешь. У нее губы в нитку, и она ни разу в жизни меня не поцеловала.

Пойдем. Мама моет испачканные фаршем руки под краном и вытирает их – тщательно-тщательно. Пойдем и проверим.

И мы идем.

В нашей с братом комнате очень много книг. И во всех остальных комнатах – тоже. Мама стоит, нахмурясь, по щиколотку в щекотном солнечном свете. Март. Окна еще заклеены, но ликующее воробыное чириканье уже прорывается сквозь двойные рамы, стянутые лейкопластырем. Между рамами лежит посеревшая за зиму вата – для тепла. Мама берет с полки “Колобка”. Нет, это ты наизусть знаешь. Лучше вот эту.

Мама сажает меня на кровать и сует в руки книжку. Большую. Очень большую. “Сказка о Золотом петушке”. Я знаю в ней наизусть только картинки – очень красивые.

– Читай, – говорит мама. – Раз умеешь – докажи.

И – р-раз – вкусно, с хрустом открывает книжку, как будто разламывает пополам пирожное безе. Мне и брату. Я смотрю на гладкие страницы. Открылась как раз моя любимая картинка – с шамаханской царицей. Царица такая красивая, что я заляпала ее повидлом из пирожка. Не нарочно. Просто разинула рот от восторга. Я смотрю на подсохший коричневатый потек на царицыном шатре. И еще один – точно такой же – на другой странице. Если поскрести ногтем и облизать – будет сладко. Призрак прошедшей радости.

Ну же, – говорит мама. – Читай. Или не хвастайся без дела. Ты же знаешь, я терпеть не могу брехни.

Я переворачиваю книжку вверх ногами и начинаю, аккуратно переваливаясь с одной неловкой буквы на букву, выводить:

И. СИ. ЙА. ЙА. КА. АК. ЗЫ. А. РЯ.

А вместе?

Мама смотрит на меня, напряженно хмурясь. Она всё еще не верит, но уже готова сдаться, как в цирке, когда фокусник прямо у тебя под носом сшивает из быстрого воздуха самую настоящую скрипящую атласную ленту, которую ты только что самолично разрезал тяжелыми ножницами. Тоже настоящими. Каждому хочется верить в чудо. Маме тоже.

Я поднимаю на нее глаза и повторяю:

Иси яя какза ря!

И что это значит?

Это значит красивая, как солнышко!

Мама подхватывает меня на руки и смеется:

Вот молодец! Кто тебя научил? А книжку зачем переворачиваешь?

От маминых вопросов щекотно, и я тоже смеюсь. Меня никто не научил. Я сама. Буква просто тянет за собой другую, как будто переводит за ручку через улицу. Иногда улица длинная, иногда короткая – называется “стихи”.

– А вверх ногами почему?

Это еще проще. Вечерами я сижу на диване напротив брата и с обожанием смотрю на его белую макушку. Брат светлый-светлый, как молоко, а у меня волосы совсем темные. Мама говорит, что, когда мы оба вырастем, станем одинаковые, русые, но я не очень верю. Перед братом – книжка, он уже большой, учится в школе, и я люблю его больше всего на свете. Даже больше, чем маму и папу. Брат лупит меня, не пускает в комнату, таскает за волосы, дразнит Марлиндой – но я всё равно выйду за него замуж, когда вырасту. И когда стану врачом.

Я читаю ту же книжку, что и брат, только перевернутую. Читаю вверх ногами, быстро (куда быстрее, чем как надо) и сразу про себя, потому что, если бубнить вслух, получишь по заднице. Брат свое слово держит: по заднице я получаю часто. Сам он бубнит как раз вслух – он учит пушкинского “Пророка”, которого я понимаю через слово, даже через два, но мне очень, очень нравится. “И он к кустам моим приник!” Я тоже ползаю за братом по кустам – подглядываю, как он с большими пацанами играет в ножички и в дурака, – поэтому вполне разделяю энтузиазм шестикрылого серафима.

Серафим – вообще мой любимый герой. Я рисую его в альбоме (у меня есть альбом!), а потом на обоях в родительской спальне. Серафим длинный, как такса, и крылья грозным гребнем торчат у него вдоль спины, одно за другим. Внизу я пририсовываю лапы – их тоже шесть, чтобы серафиму было удобнее держать равновесие. Голова у серафима круглая, словно шар, и вся в тугих пружинках, как у Пушкина. Пушкина я тоже знаю. Это он придумал серафима. И шамаханскую царицу. Еще Пушкин придумал про рыцарей, они воюют вместе с серафимом.

Я в них играю. Ивиждь! – выкрикиваю я грозно, нападая на подушку. – Ивиждь! Ивнемли! И рыцари нападают вместе со мной, так что подушка отвечает испуганными пыльными вздохами.

Мама сердится – опять обои испортила! – и смеется, когда я объясняю ей про серафима и про рыцарей. Ты еще маленькая; если будешь читать всё подряд, ничего не поймешь и голова зарастет сорняками.

Сорняков я боюсь, поэтому читаю не все подряд книжки, а через одну. Мои две полки – нижние. Книжки на них большие, яркие. Я их давно все знаю, многие даже на память. Неинтересно. Поэтому я пробираюсь в большую комнату (там вообще нет детских книг), лезу на кресло и дотягиваюсь до одинаковых томиков, которыми тесно уставлены полки. Во всю стену! Книжки толстые, отличаются только по цветам и называются “собрания сочинений”. Я тоже люблю сочинять, бабушка называет меня “тыща слов в минуту” и огорченно говорит маме – разбаловала ты ее, больно умная. Хотя на самом деле мне нисколечко не больно.

На полке, до которой я достаю, только черные книжки и синие. Называются “Горький” и “Чехов”. С марта до августа я прочитываю их все не подряд, а через одну (сорняки!), а потом снова через одну, но в обратном порядке, и ровные мелкие буквы похожи на мак из булки – такие же круглые и поскрипывают. Одну книжку (черную, горькую) я даже затрепала, но пока никто не заметил. В ней про сокола и ужа, очень торжественно, но не стихи. Ужа я ужасно жалею. Он спал на сырых камнях (очень вредно!), а потом упал и ушибся. Сокола мне тоже жалко, но меньше. Он умер, а в книжках это невзаправду. И вообще невзаправду. Дедушка тоже умер, и ничего не произошло. Я его даже не помню. Когда умер, уже ничего нет. Это не страшно.

Я читаю Оксанке про ужа – и она слушает, поджав круглый, как у тюльки, рот. Оксанка живет на втором этаже. Мы – на первом. Она старше меня на два года и умеет сидеть, как лягушка, распластав по полу колени и уставив пятки в разные стороны. Зато я умею читать. Оксанка – нет. Мама у нее работает в школе для дураков, а папа не настоящий. Отчим. Смешное слово, как будто ириской чавкнули. Отчим Оксанки тоже смешной – ушастый. А в школе для дураков – одни дураки. Мама сказала, что тебя тоже возьмут, если читать не перестанешь! – грозит Оксанка мстительно, и я чувствую, как к горлу медленно поднимается круглый, горячий, красный рев. Дураков я знаю. Их выводят гулять за острым черным забором, и дураки, выстроившись парами, покорно вышивают по дорожкам круги и петли, пока головы их зарастают высокими шуршащими сорняками.

Оксанка какое-то время с удовлетворением наблюдает, как я жую нижнюю губу, чтоб не тряслась, а потом сжаливается.

Пошли, – говорит она. – Пошли, чего покажу!

И мы идем.

Только недалеко, – ною я по дороге. – Ладно? Мама не разрешает далеко, я обещала. Оксанка даже не смотрит на меня – так ей противно. Ей-то разрешают куда угодно – она даже на автобусе ездила одна, только ее быстро посадили. А я в автобусе вообще ни разу в жизни не была – у нас машина, и я ее ненавижу, потому что внутри воняет бензином. Мама всегда дает мне с собой в дорогу соленый огурец и целлофановый мешочек. И огурец никогда не помогает, а мешочек – всегда.

Оксанка приводит меня за школу, и я успокаиваюсь. Школу видно из нашего окна. Это правда недалеко. Мама не будет ругаться. Школа белая, длинная и без забора, потому что не для дураков. Сюда ходит мой брат, и меня тоже отдадут – через два года. Или через год. Я сама слышала, как бабушка и мама ругались. Мама говорила – да что ей делать в первом классе? Она же со скуки там помрет. Надо сразу во второй, а то и в третий. А бабушка отвечала, что это непедagogично по отношению к другим детям и что я буду самая младшая в классе, а это грозит проблемами в пубертате. Проблемы в пубертате, – бормочу я восхищенно. – Проблемы в

пубертате! Звучит таинственно, как туманность Андромеды. Эту книжку я тоже читала. И Таис Афинскую. И мамин “Справочник практического врача”.

Оксанку отдадут в школу уже через месяц, первого сентября, но она бежит сюда каждый день всё лето. Осваивается. Я покорно плетусь за ней и всё время боюсь. Я вообще всё время боюсь. Брат дразнит меня трусихой. Это правда. Но за школой – ничего страшного. Самая обычная спортивная площадка. Тишина. Остовы пустых ворот, перед ними вытоптано до глины. Вокруг площадки – заросли, непроходимые, густые, я туда не хочу, но лезу следом за Оксанкой, спотыкаясь о какие-то коряги и ржавые консервные банки. Вокруг пронзительно звенят насекомые, пахнет мокрым, горячим, зеленым и в самой чаще торчит скелет трехколесного велосипеда. У меня велосипеда нету. Мама боится, что я упаду с него и расшибусь. Как уж из книжки.

Оксанка останавливается так резко, что я тыкаюсь лбом в ее спину – расцарапанную, сутулую, перечеркнутую лямками ситцевого сарафана.

Боярышник, говорит Оксанка торжественно, и я сразу его вижу – как будто Оксанка сказала волшебное слово, от которого боярышник проступил на свет. Боярышник красный. Нет. Красновато-коричневатый, спекшийся. Огромный куст.

Ой, даже два. Крупные ягоды присобраны в кисти, похожие на кошачьи лапки. Вот-вот приподнимет и закогтит. Я тянусь за нижней веткой – и ахаю. Действительно когтит. Боярышник колючий! Оксанка смеется. Небось в книжках про это не написано. Крыть мне нечем. Ивиждь и Ивнемли, уж, сокол и даже серафим кажутся рядом с боярышником ненастоящими. Оксанка срывает целый пучок ягод, высыпает их на мою подставленную ладонь – мягкие, полураздавленные, сахаристые. Я трусливо трогаю одну ягоду языком. Сладко.

Они не ядовитые?

Я с подозрением смотрю на Оксанку. С нее станется. Один раз она велела мне открыть рот и зажмурить глаза, а сама плюнула. Было противно. А другой раз сняла во дворе перед мальчишками трусы, и они испугались и убежали.

Не ядовитые, дура!

Я всё еще чую подвох. Боярышник слишком красивый. Это явно опасно. Волчьи ягоды тоже красивые, даже еще лучше, – алые бусины сидят на листе парами, прижавшись друг к другу, насквозь прозрачные, наливные, до отказа полные неотразимой гибелью. Их нестерпимо хочется покатавать во рту или хотя бы облизать, как мамины янтарные сережки.

Подавишься! Засоришь животик – и будет аппендицит! Съешь – и немедленно умрешь! Красота, как будто нарочно, накрепко зарифмована с опасностью.

Оксанка срывает еще несколько ягод боярышника и сует в рот. Она чавкает – не потому что дразнится, а потому что не умеет есть красиво. Мама – когда Оксанка у нас в гостях – кормит нас с ней ужином отдельно. Потому что папа – я сама слышала! – сказал, что это просто невозможно, честное слово. Меня или стошнит, или я ее выпорю. И вообще, она к себе домой уходит когда-нибудь или нет? Я умею есть красиво, это несложно. Надо просто жевать задними зубами и с закрытым ртом. Всего и делов.

Оксанка привстает на цыпочки и начинает объедать боярышник прямо с ветки. Ртом.

Я наконец решаюсь и аккуратно подбираю ягоды с ладони.

Боярышник вкусный. Правда, внутри он набит противными шерстяными семечками, от которых чешутся губы, но Оксанка в два счета научает меня сплевывать их на землю. Это здорово! Через час мы уже не можем есть и просто сидим под огромными кустами, держась за руки и заливаясь смехом. Смех без причины – признак дурачины. Я еле выговариваю любимую бабушкину фразу – и мы с Оксанкой валимся друг на друга, вялые, горячие, совершенно обессиленные хохотом. Дурачины!

Наконец Оксанка вытирает мокрые глаза, передергивает тощими плечами, поправляя бретельки, и встает.

Пошли домой, а то влетит.

Я честно пытаюсь подняться – и не могу. Жара кружится возле моей головы с низким жужжанием.

Это какая-то очень жаркая жара. Я зажмуриваюсь, но всё равно вижу, как листья вокруг смыкают резные края, словно пытаюсь собраться в непроницаемую головоломку. Оксанка, говорю я, давай одну минуточку поспим, всего одну минуточку, – но Оксанка не слышит, и я сама не слышу, и только что-то катается внутри моей головы: бух, бух, бух, всё медленнее и медленнее. Сон без причины. Признак дурачины. Но Оксанка не смеется.

Вставай, ты чего, – просит она. – Ты чего? Вставай!

Оксанка тянет меня за длинную, длинную, страшно длинную руку. И я в первый раз в жизни слышу в ее голосе страх. Расходится клубами. Как будто в стакан с чистой водой опустили запачканную черным кисточку и быстро-быстро взболтали.

Дура! Дура чертова! Дебилка! Коза!

Бум, – отвечает шар в моей голове, и я засыпаю.

Когда я в следующий раз открываю глаза, передо мной – дверь. Наша. Синяя. Дерматиновая. Собака породы дерматин. У меня собаки нету. И кошки тоже. Только красная игрушечная лошадь. Конь-огонь.

Оксанка, громко всхлипывая, звонит в звонок.

Дзы-дзы-дзы!

Медленный шар внутри меня докатывается до невидимой стенки и невпопад откликается: бух.

Оксанка поворачивается, и я понимаю: она плачет.

Ключи! Где ключи, дура?!

Я ложусь на коврик и закрываю глаза. Ключи подо мной. Я чувствую их боком. Маленькие и твердые.

Оксанка изо всех сил пинает меня ногой в босоножке. Босоножка белая, стоптанная, растрескавшаяся. Время заносит ее, пудрит Оксанкины пальцы, поджавшиеся от ужаса, словно она вот-вот сорвется с насеста и полетит куда-то в воющую глубину. Баба Маня говорит неправильно: “нашест”. У шестикрылого серафима тоже должен быть нашест, понимаю я. Иначе как же ему спать, бедному? Я представляю себе огромный курятник и уходящие до самого горизонта ряды крыльев и кудрей, крыльев и кудрей, крыльев и кудрей.

Оксанка плачет громко, некрасиво, навзрыд и еще раз пинает меня маленькой перепуганной ногой.

А мне не больно. Курица довольна.

Ивиждь, Ивнемли!

Дура! – снова кричит Оксанка где-то далеко-далеко.

И босоножка убегает.

А потом я вижу маму. Она идет на работу. Нет. Она несет меня на работу.

Сначала медленно, потом бежит.

Мама держит меня на руках, и я вижу свою макушку, и болтающуюся ногу, и синие губы. Солнце надо мной и мамой – оранжевое. Оранжевое небо. Оранжевый верблюд.

Оксанка бежит за мамой, как собачка, то отставая, то догоняя, и плачет, растянув большой редкозубый рот. Среди других играющих детей она напоминала... напоминала...

Что вы делали? – мама вдруг кричит громко, так громко, что я открываю глаза.

Ивиждь!

Боярышник, – рыдает Оксанка.

Мамины губы снова движутся, но я больше ничего не слышу. Сорняки шуршат у меня в голове, разрастаясь, сочные, черные, и в них наконец-то запутывается шар.

Бух! – говорит он в последний раз.

И больше не катается.

Ивнемли!

Ибо. Гаглас. ИБО. ГАГЛАС.

И бога глас ко мне воззвал.

Боярышник! – снова повторяет Оксанка, и я вижу шестикрылого серафима: на самом деле он розовый, с жуткими, как у шамаханской царицы, громадными глазами.

И бога глас ко мне воззвал!

Глас бога ревет и воняет бензином.

В медсанчасть! – кричит мама водителю, которого я уже не вижу. – В медсанчасть!

Серафим наклоняется ниже, ниже – и я замечаю у него в лапах литровую банку, полную липкого сияющего света.

Мёд, – читаю я старательно. – Мёд!

И шестикрылый серафим улыбается.

Бедная Антуанетточка

Она еще не закончила школу, а ее уже называли в набитых, как авоськи, одышливых трамваях “женщина”. Женщина, передайте на билетик, пыжалста! И на полуслове замолкали, недоуменно утыкаясь глазами в коричневое школьное платье с полукружьями белесого пота под мышками, полосатые гольфы, толстые расцарапанные колени. Ну и корова вымахала. Извини, девочка. Ничего-ничего.

Какое-то время бедная Антуанетточка тайком плакала по темным, чуть подплесневелым углам огромной старой квартиры, объявляла бессильные голодовки, с ненавистью щипала себя за жирные складки на животе и даже перед сном с жалким детским отчаянием просила каких-то смутных сказочных святых смилостивиться и – в виде исключения – совершить одно-единственное, самое маленькое чудо. Но наутро бессердечное зеркало снова отражало всё тот же сально блестящий бугристый лоб, очки, бесцветные брови.

Однажды – в минуту невыносимого подросткового отчаяния – Антуанетточка даже выпила упаковку бабушкиных таблеток от давления, но сама же первая испугалась и долго глотала в ванной теплую воду с марганцовкой, давась, выхаркивая в хриплый подтекающий унитаз полурастаявшие желтые облатки и все-таки самым краем слепого слезящегося глаза замечая, какими чудесными, причудливыми лиловыми клубами распускаются в литровой банке не до конца растворившиеся кристаллики калия марганца о четыре.

Никто так ничего и не узнал об этом глупом, полужансенном песком и временем случае. Никто ничего и не узнает. Антуанетточка поняла это, распухшая, кашляющая, перепуганная, вцепившаяся обеими руками в содрогающееся, немеющее горло. Надо учиться жить, приспособливаться. Ты думаешь, кому-нибудь легко? Всем сейчас трудно. И мне. И тебе. А бабушке, царствие ей небесное? И вообще, жизнь прожить – не поле перейти, – объясняла вечерами мама, торопливо сдергивая с головы колючие розовые валики стареньких бигуди и невнятным сдобным голосом цитируя совершенно неведомого ей Пастернака. И от этой никем не узнаваемой, оборванной цитаты, от быстрого сухого звука, с которым не нужные больше пластмассовые ежики летели в картонную коробку из-под давно сношенных туфель, и от запаха томящейся под крышкой жареной картошки было как-то особенно грустно.

Напоследок мама быстро красила перед зеркалом губы, сильно напрягая подбородок и изумленно вскидывая круглые карие брови – словно не понимая, откуда у нее, свежей, как кочан едва подбитой морозцем капусты, аппетитной хохотушки, такая мрачная и – будем откровенны – абсолютно, ну просто ап-са-лют-на непривлекательная дочь. И в кого ты у меня такая? – в очередной раз вслух удивлялось зеркало, уже готовое, праздничное, яркое, как салют: алое платье, розовые ногти, лиловые губы, – крепко надушенное бодрой граненой “Красной Москвой”, – и дверь облегченно хлопала. Бедная Антуанетточка привычно вздыхала и, прихватив из холодильника целое кольцо смуглой краковской колбасы, плелась к своему креслу.

Возможно, всё бы вообще сложилось иначе, и Антуанетточке даже удалось бы спастись, распластавшись по сырой стене тоннеля так, чтобы судьба, грохоча и роняя каленые искры, пронеслась мимо – дальше, в пустоту, неизвестность, в бледный предутренний туман. Ведь была же в ней, в конце концов, неприлично здоровая кровь ее неприлично здоровой матери, которой до сих пор свистели под окном солидные работяги в серых добротных кепках, слегка опухшие и лилово, картинно – до самых глаз – небритые, словно угрюмые октябрьские баклажаны. И Антуанетточкина мама прекрасным молодым голосом кричала из-за шторы: Иду! Иду, золотко! – и беспокойными пальцами проверяла крепко скрипящие капроновые икры (на пятке опять поползло, ну что ты будешь делать!) – и работяги снова свистели, грозно, ликующе, требовательно, словно соловьи-разбойники местного, микрорайонного разлива, и мама, мгно-

венно отразившись в зеркале, обреченно, освобожденно улетаала на этот свист – крупная, торжественная, шелковистая, словно торопящийся к солоду и пиву набоковский лакомка-бражник или иная ночная бабочка редкостной породы.

Всё было бы иначе, если бы не огромное пыльное кресло, в которое Антуанетточка медленно погружалась всё глубже и глубже, придавленная, одурманенная, с очередным растрепанным библиотечным томом на уродливо перезрелых коленках.

Пока не достигла самого дна.

Бедная Антуанетточка и сама не заметила, когда свет и тепло настоящей, живой жизни перестали проникать сквозь густую, полупрозрачную толщу прочитанных ею книг. Да и что было Антуанетточке до настоящей, живой жизни? Медленная, одинокая, безмолвная, она неторопливо парила в питательном бульоне сумеречных литературных иллюзий, иногда – после инородного окрика: Аня, вынеси мусорное ведро! Антонова, к доске! Анита Борисовна, вас к директору! – тяжело поднимаясь на ненавистную поверхность, где никто, никто не знал, что под толстой броней чудовищной плоти бедной Антуанетточки, за ее выпученными рыбьими очками есть, как и было обещано, и цветущий сад, и сумерки, и ворота двorca.

Никто никогда не хотел с ней дружить. Не то что бы среди других играющих детей... Словом, ни лягушки, ни пустые горшки были тут абсолютно ни при чем. Просто бедная Антуанетточка совсем не умела быть живой. Хрупкая детская лопаточка звонко лопалась в тяжелых нежных антуанетточковых лапах – ало-сахаристая на сломе, как переспелый краснодарский помидор, – и таким же алым надтреснутым ревом наполнялись глотки соседских девочек, маленьких кудрявых кукол в платьицах, похожих на букеты и облака. На отчаянные детские крики прибегали перепуганно квохчущие мамы, на мгновение затмевали головой грозно налившееся солнце, и еще через минуту бедная Антуанетточка уже сидела в осиротевшей деревянной раме песочницы, совсем одна среди полурастоптанных песочных куличиков, дрожащего воздуха и липкого тополиного пуха. Что это ваша Анечка всё одна и одна? Ребенку необходимо проявлять себя в коллективе. Да вы знаете... Аня, не стой столбом. Иди к девочкам – не видишь, взрослые разговаривают!

В школе бедная Антуанетточка, несмотря на чудовищный груз убитых и полупереваренных ею книг, училась плохо: вечно сонная, мятая, закисшая, заливающаяся пятнами огненной, болезненной красноты. Никакая. Ее старались вызывать пореже – она вставала с медленным сырым вздохом, угрюмо глядя в сторону захватанными линзами; тесное платье немилосердно резало под мышками, в щеку звонко впечатывался мокрый катышек жеваной бумаги. Бедная Антуанетточка привычно, как муху, смахивала его и молча опускалась на скрипнувший стул – преодолевая мрак, океан, вьюгу.

Садись, Антонова. Плохо. Опять двойка.

Может быть, всё дело было в отце? Ведь был же у бедной Антуанетточки и отец, чернобелый, настенный, искусно обрамленный деревянной рамочкой и навеки приплюснутый сверху леденцовым зеленоватым пластом не очень качественного стекла, вечно залитого то полуденным солнцем, то пятирожковым светом ужасной люстры с мутноватыми гранеными висюльками. Так что бедная Антуанетточка, задирая к стене оснащенную визгливым капроновым бантом голову и благоговейно ковыряя пальцем стенную побелку, была вплоть до старшего детсадовского возраста уверена в том, что огненный мрачный лик с наспех набросанными скулами и демоническими провалами вместо глаз – это и есть ее папа, злодей и полярный летчик, пребывающий в бессрочной командировке в стране настоящего северного сияния.

К третьему классу средней школы у фотографии прорезался щедрый лоб с легкими политкорректными залысинами, насмешливые твердые губы и полосатый галстук, завязанный чуть-чуть – самую малость – вольнодумным узлом. Командировка к тому времени давно стала скоростной – и угол портрета украшал маленький черный бархатный бантик, споротый мамой с устаревшей бабушкиной шляпки и потому сидевший на рамочке со всей неумест-

ной легкомысленностью кокетливой женской вещицы. Когда бантик запылится до пепельной пушистости и утратил даже намек на былую траурность, четырнадцатилетняя Антуанетточка взгромоздилась на сдавленно ахнувшее кресло и решительно сняла отца со стены. Неаккуратно вскрытая маникюрными ножницами рамочка обнаружила мутноватый снимок смазливового мужчины средних лет с выразительным партийным подбородком. Типографская надпись на обороте сдержанно сообщала: “Артист Омской государственной филармонии Ю.Н. Абрамов”.

Северное сияние яростно и прощально полыхнуло на горизонте, на миг осветив остов погибшего самолета, навеки впаянный в полупрозрачную, как леденец “Театральный”, вечную мерзлоту – и бедная Антуанетточка, всхлипнув, сунула бесстыдную фотографию в щель между пыльным подлокотником и продавленным сиденьем старого кресла – словно в заброшенный почтовый ящик на окраине вымершего городка. На деревню, папочке, Ю.Н. Абрамову.

Что ей оставалось после этого, кроме книг?

К выпускному классу бедная Антуанетточка вдруг жадно – и всё так же неведомо для окружающих – увлеклась историей, особенно восемнадцатым веком, жестоким, пудренным, капризным... И в таком случае пересекаются в точке экстремума, – наждачным голосом объясняла сухопарая математичка, перекрикивая надсадно гудящую в матовом плафоне муху, и бедная Антуанетточка прикрывала влажные веки, внутри которых крохотным огненным шаром вздувался дворцовый переворот, сладко пахла пачулями и кровью насквозь пронзенная шпагой записка и графиня с изменившимся лицом бежала к пруду. Антонова, очнись. Опять спишь на уроке! Что я сейчас сказала? Повтори...

Но страсть была сильнее бедной Антуанетточки. Историк, бритый язвительный старик, похожий на гипсовый бюст Вольтера, едва ли не единственный на свете человек, догадывающийся, какие черные звезды разрываются в груди неуклюжей слоноподобной девочки с четвертой парты (первый ряд, облупленный подоконник, солнце, распятый за окном тополь, городская свалка, полдень, конец тысячелетия, тоска), искусно науськивал Антуанетточку на будущий вуз, суля неясные и сладкие перспективы, гробовую тишину читальных залов, гранитный хруст контрабандно пронесенного с собой печенья, первую публикацию, последнюю монографию, зеленую лампу, почтительный некролог.

От неожиданно прояснившегося будущего бедная Антуанетточка даже ненадолго и как-то болезненно ожила – словно кто-то мягкой ловкой рукой навел резкость на окружающие ее чудовищные вязкие тени, и из привычной серой мути выплыла вполне определенная, мощенная теплым желтым кирпичом тропинка, ведущая во вполне определенный, живой, человеческий лес. Вдруг оказалось, что Антуанетточка умеет разговаривать, торопливо глотая круглые гласные и пузыря слюну в уголках слабого рыбьего рта. В пятницу на истории я буду делать доклад про Марию-Антуанетту, ты придешь? Ошарашенные одноклассники – надо же, с чего это наша слониха вдруг так активизировалась?! – на секунду прерывали пулеметную болтовню, пожимали плечами, и бедная Антуанетточка спешила дальше, расталкивая тяжелыми бедрами шаткие школьные парты и давя толстыми ногами собственную робкую тень.

Так значит, в пятницу. Сорок пять минут жила бедная Антуанетточка, срываясь, горячася и громко сглатывая слова. Кровавый призрак самой трагической в мире королевы медленно парил за ее правым плечом, туманя очки, сжимая перетруженное горло.

Всё было почти кончено, оставались какие-то жалкие дрожащие мгновения, и, наконец, упал наискось обрезанный ритуальный каменный нож, и палач в полотняном балахоне рывком выхватил из корзины отрубленную голову, чтобы показать ее ликующему народу. Голова качнулась в крепкой руке – чудовищная, крошечная, неживая, – и вдруг медленно открыла каменные веки. Это была голова несчастной Марии-Антуанетты.

Еще секунду класс был накрыт непроницаемой и яркой, как шелковая шаль, тишиной. Полуденное страшное солнце безмолвно плыло за пыльными портьерами, золотя молодые

шеи, белые воротнички, проборы, пылающий дубовый паркет. Безжалостное парадное солнце восемнадцатого века. “Я вижу черный свет”, – сказал мертвый Виктор Гюго. Их штербе. Я мыслю, следовательно, я умираю.

И вдруг где-то на камчатке, в районе запыленного шкафа с методическими пособиями, кто-то не выдержал и тоненько, с подвизгом, хихикнул. Через минуту в классе хохотали все. Даже вольтероподобный историк поддался и мягко заухал, прикрывая классным журналом старческий синевато-фарфоровый рот. Бедная Антуанетточка почувствовала, как потная волна смеха больно толкнула ее прямо под комсомольский значок, и – совершенно машинально – улыбнулась. Они были правы, конечно. С историей было покончено. И теперь уже окончательно и навсегда.

Всё ж, дочка, поближе к деньгам – оно спокойнее, – рассудила мама, вымешивая на кухонном столе круглое охающее тесто для яблочного пирога, и Антуанетточка поступила на бухгалтерские курсы.

Неспешное разрушение большой страны пошло Антуанетточке только на пользу: пару лет она поработала на полумертвом молочном комбинате, еще через пару лет комбинат купил оборотливый олигарх. К тому времени из Антуанетточки получилась почти безупречная счетная машина – идеально исполнительная и идеально равнодушная к итоговой колонке ровненьких черных цифр. К тому же бедная Антуанетточка не сплетничала и не бегала поминутно на лестничную клетку делать круглые глаза и обсуждать за сигаретой новую жену олигарха – молоденькую бледноволосую куклу, которая иногда приезжала на комбинат и быстро-быстро проходила коридорами, шурша шелковыми коленками и поглядывая на всех немного испуганными и невероятно живыми глазами. Бедная Антуанетточка просто не курила. И ей повысили зарплату. Потом еще раз. И – спустя некоторое время – еще.

Этого было более чем достаточно. Даже чересчур. Мама сделала в квартире капитальный и бестолковый ремонт (прощайте, простодушно побеленные стены и пузыри почерневшего линолеума в прихожей!) и даже справила себе мечту всей жизни – монументальную каракулевую шубу с особым, безумно ценным вальковым завитком. Можно было, конечно, купить что-то посовременнее – щипаную норку (искусно собранную из лапок и лоскутков), серого козлика или даже енота. Но именно черный каракуль (полторы тысячи советских крепеньких рублей!) носила, бередя сердца потребителей, директор маминого магазина, мягкозадая стерва с мускулистым бульдожьим ртом, – и участь двух десятков дрожащих новорожденных ягнят была решена.

Шубу мама носила чуть ли не с сентября по июнь, хотя ходить в ней особенно было некуда. Мамин магазин одной прекрасной весной превратили в бутик, непрезентабельный устаревший персонал разогнали, и теперь за огромными витринами среди десятка одиноких нарядов утомленно парила стайка воздушных сильфид. И в неслышном оканье накрашенных ртов, в том, как хищно бросались они на каждого случайного посетителя, было что-то удивительно аквариумное, рыбье.

Да. Поэтому шубу приходилось выгуливать только до предподъездной лавочки с пенсионерками да до поликлиники – у мамы поджимало сердце, прыгало, как каучуковый мячик, давление. Вот климакс проклятый, – жаловалась она дверце духовки, с кряхтением вынимая из пылающего жерла сковороду котлет и трясая огненными, накаленными щеками, – никакого житья от этого климакса нету... А дура-докторша одно знает: холестерол-холестерол.

Летом, в самую сердцевину дня, бедной Антуанетточке позвонили на работу. В таких случаях почему-то всегда звонят на работу. Анита Борисовна? – осведомился торопливый, с легким металлическим привкусом голос. – Ваша мама в пятьдесят второй больнице. Что вы говорите? Да, сердце. Инфаркт.

Маму хоронили в страшную жару. В налитых огнем ртутных пробирках законных градусников бессильно плавился обезумевший Цельсий, изнемогали под мертвыми кустами, выва-

лив серые обложенные языки, тусклые, пыльные дворняги, и только шоколадные конфеты, которые Антуанетточке велели на помин раздать притихшим подъездным детям, были твердыми, неподвижными и как будто даже слегка заиндевевшими, как мама, – потому что тоже всю ночь, до утра, пролежали в морозильной камере.

Кладбище было бесконечное. Огромное, торжественное, пустое, как город, оно дрожало в жидком от жара воздухе, слабо позвякивая жестяными острыми листьями искусственных венков, и в такт ему подпрыгивали в крошечном ритуальном автобусе обитый седовато-черным сатином гроб и совершенно незнакомые Антуанетточке, опухшие, краснолицые, душные люди. На очередном безжизненном перекрестке автобус резво притормозил и принял на подножку двух могильщиков – рослых, налитых полупрозрачным крепким розовым жиром мужиков в гремучих брезентовых штанах. Один из них, помоложе, густо заросший на груди рыжей кучерявой шерстью, весело подмигнул и, отстегнув от пояса крошечный мобильный телефон, тут же принялся названивать какой-то Любушке, притапывая от нетерпения огромной босой серо-глиняной ногой и утробно похохатывая, пока второй мужик, тоже босой, коренастый, с седыми от пыли косматыми бровями, не толкнул его укоризненно в бок черенком лопаты.

Быстро, с какой-то профессиональной, щеголеватой ловкостью забросав могилу комьями закаменевшей глины, они с достоинством взяли потный, принявший форму Антуанетточкой ладони комок денег и пошли прочь, по-солдатски приняв на плечо текучие от солнца, ослепительные лопаты и неторопливо переговариваясь, пока не растворились наконец в звонко трещащем полуденном мареве, полном цикадных стонов и журчащих звонков далекого мобильного телефона, – торжественные и невозмутимые, словно ангелы в огненных нимбах лопатных лезвий.

Следом за ними потянулись и все остальные – какие-то соседские старушки в низких платочках, отсыревшие от слез, безутешно молодящиеся продавщицы из бывшего маминого магазина, неведомые мужики в тесных, липнущих к спине синтетических рубашках... Все они по очереди подходили к растерянному мнущейся возле свежего холмика Антуанетточке, тискали горячими липкими руками, прижимаясь, коротко взрыдывая и обдавая ее удушливыми волнами подсыхающего пота, плохо переваренного лука и алкогольного сочувствия, пока не исчезли в раскаленной утробе автобуса, который и должен был – за самую скромную мзду – переправить всех обратно через Стикс.

У могилы осталась только одурелая от солнца, распаренная Антуанетточка и худой обугленный дядька в нестерпимо черном колючем шерстяном пиджаке, на который Антуанетточке было страшно даже смотреть. Дядьку Антуанетточка не знала, точнее, просто не помнила, различая маргинальных маминых кавалеров только по зазаконному свистовому переливу, а дядька всё стоял, покачиваясь, на коленях у деревянного столбика с табличкой, тоненько подвывая и непрерывно вытирая огромным носовым платком глянцевое от слез резиновое лицо и раскаленную коричневую лысину.

Пойдемте, – тихо попросила его бедная Антуанетточка, и дядька быстро, как испуганная лошадь, мотнул головой и разом потянулся к Антуанетточке всеми своими мокрыми гуттаперчевыми морщинами: “Што ж мы без Алечки-то будем делать, доча? А, доча?!” Антуанетточка молча развернулась и, отмахиваясь рукой от растерянных окликов, заковыляла, спотыкаясь о холмики и плиты, – прочь, прочь, от этого жуткого, жуткого, невозможного места.

Она выбралась к людям уже ближе к вечеру – странная, тихая, до бровей занесенная тончайшей глинистой пылью удивительного, серо-смуглого нежного оттенка – того самого, что требовала бабушка, выбирая в промтоварах Антуанетточкой детства пудру и соглашаясь исключительно на “Рашель”. Но продавали почему-то всё больше крем “Анго” – против загара и веснушек, и сопящая Антуанетточка уводила недовольную бабушку прочь – к ароматным вратам гастронома, где под стеклянной, засиженной мухами полусферой лежало толстое

полено бисквитного рулета с рыжим повидлом и продавались хрупкие песочные корзиночки, украшенные тремя вязкими вилюшками белкового крема.

Потом бабушка умерла, и вот мама умерла тоже.

В квартире стояла гулкая пустота: поминки справили, так и не дождавшись Антуанеточки. Антуанетточка машинально забрела на кухню, постояла там – по щиколотку в щекотном закатном солнце, – глядя на гору вымытой безмянными соседками посуды, на стакан водки, прикрытый подсыхающей ржаной горбушкой, на заботливо оставленную для нее тарелку с месивом винегрета, колбасы и мутноватого свиного студня, и так же машинально пошла в комнату, которая при маме торжественно звалась залой. Старое кресло было на месте. Бедная Антуанетточка сама запретила ссылать его на помойку. Центр мира никуда не переместился.

Антуанетточка засунула руку в щель между сиденьем и подлокотником, минуту пошарила среди крошек и закаменевших огрызков незрячими пальцами и вытащила из небытия отцовскую фотографию. “Завтра куплю тебе рамку”, – пообещала она, разминая выцветшее мужское лицо непослушными пальцами и не замечая, что всё вокруг – кресло, воздух, паркет, она сама, фотография – покрыто тончайшим налетом серой кладбищенской глины.

Тем не менее всё как-то утряслось. Конечно, всегда неприятно узнавать о том, что в мире существует горгаз и счета за электричество, но Антуанетточкину действительность питали совсем другие источники – книги. Изданные, неизданные, готовящиеся к изданию, устаревшие, подписанные в печать. Скучные библиотечные полки были забыты и опустошены. Жизнь бедной Антуанетточки теперь была подчинена биению рынка отечественного книгоиздания.

К тридцати годам Антуанетточка развилась в полноценного тайного гурмана, причем ее литературные пристрастия самым причудливым образом переплелись с гастрономическими. Оказалось, что, скажем, Георгий Иванов под профитроли в шоколадном соусе – это совсем не то же самое, что Георгий Иванов с пластом ржаного хлеба и толстым розовым диском докторской колбасы. Символисты настоятельно требовали горячих слоев с ветчиной и сыром, а Дзюньитиро Танидзаки или Ясунари Кавабата почему-то особенно хорошо шли с маленькими малосольными огурцами. И Антуанетточке казалось, что в самом хрусте бело-зеленого пупырчатого огуречного тела заключено что-то необыкновенно изысканное, японское.

Несмотря на профитроли и прочие излишества, бедная Антуанетточка больше не толстела – словно причудливая восковая отливка, попавшая наконец в прохладную воду. Она как будто навек застыла в своем неопределенно-личном возрасте и из уродливого переростка превратилась в самую обычную конторскую тетку в вечной твидовой юбке и захватанных пальцами круглых очках. На нее не обращали внимания ни на работе, ни на улице – ее просто не видели, как не замечают пешеходы круглого лаконичного языка дорожных знаков или люди, не читавшие Набокова, – бабочек.

Бедная Антуанетточка стала как все. Превратилась в рядовой толпообразующий элемент. И это было как будто умирать – заживо и в полном сознании. Или даже еще хуже. Тем не менее она научилась испытывать нечто вроде счастья – да, счастья! – особенно когда возвращалась по вечерам со своего молочного завода – две станции на метро, одна трамвайная остановка и потом десять минут пешком – с непременно заходом в большой супермаркет, подсвеченный изнутри, словно елочная игрушка.

В супермаркете к Антуанетточке привыкли. Она была клиент, то есть брала понемногу, но зато всегда самое лучшее, дорогое, и расплачивалась исключительно наличными (а что ни говорите, никакая пластиковая карта не сравнится с живым грязноватым теплом настоящих денег). К тому же толстые очки бедной Антуанетточки и ее же бесформенные бедра не вызывали у бедных продавщиц, вынужденных круглосуточно кипеть в собственном завистливом соку, никаких адреналиновых вспышек. “Рокфор не очень сегодня, не советую”, – как соучастнице шептали они, и Антуанетточка благодарно отдергивала пальцы от гнилостного деликатеса, насквозь проросшего благородной голубой плесенью, брала рыжеватую лепешку

савойского реблошона и, словно замороженная, катила свою тележку дальше – навстречу бесконечным полкам, коробкам, шуршащим витринам. А позади нее всё та же продавщица всё с той же любезностью подталкивала скверный рокфор другой покупательнице – холеной и со стройными бедрами, облитыми ярким наглым платьем. И только хрупкий, едва ощутимый ледок на дне вежливой улыбки намекал на коварный подвох и грядущий хохот в прокуренной подсобке: девки, а я ведь втюхала рокфор этой рыжей козе. Ну, той, на белом мерсе. Пускай просрется как следует, гадина!

Справа от кассы приютился книжный лоточек – очень, впрочем, убогий: рассыпающиеся покеты со зверскими названиями на зверских обложках, какие-то аляповатые раскраски, неперенные “Протоколы сионских мудрецов”. Но бедная Антуанетточка как-то разговорилась с измученной отставной филологиней, торгующей этим библиографическим вздором, и теперь под прилавком ее всегда ждало что-нибудь приятное: аппетитно похрустывающий переплетом Пруст, свежеизданная цветаевская переписка или – такое чудо, Анечка, специально для вас! – какой-нибудь “Легкий завтрак в тени некрополя”.

После супермаркета оставалось только один раз – по заботливо распластавшейся зебре – перейти дорогу, и вечер, полный лакомых книг и книжных лакомств, ложился у Антуанетточких ног, урча и подставляя под хозяйские тапки теплый домашний живот.

И вечер этот окупал и искупал всё.

Машина напрыгнула на бедную Антуанетточку слева, толкнув в грудь резиновой волной вонючего жара, – и улица, шумно кинувшись наперерез, вдруг быстро перевернулась, еще раз перевернулась и, подпрыгнув, изумленно застыла, охая и смущенно стряхивая с запачканного рукава мелкую дождевую поросль. Мигом со всех сторон натекла лужица взволнованно и безмолвно разевающих черные рты зевак; водитель, по горло погруженный в пережитый шок, никак не решался вылезти в промозглый воздух и всё лихорадочно протирал изнутри залитое лобовое стекло, пытаясь разглядеть хоть что-то сквозь ритмичное шуршание суетливых “дворников”.

Звук – по чьей-то нерасторопности – так почему-то и не включили, но очки чудом уцелели на месте, и бедная Антуанетточка с не виданной прежде зернистой резкостью увидела белую, чуть подмокшую картонную коробочку с эклерами, похожими на толстенные загорелые личинки заморских бабочек. На одну личинку, с самой лакомой шоколадной спинкой, впопыхах кто-то наступил, нежное сливочное содержимое выдавилось прямо в лужу – и по дождевой воде плыли странные маслянистые радужные пятна.

Перепачкают мне Сильвию Платт, машинально спохватилась бедная Антуанетточка, ища глазами купленную специально к эклерам книжку. Но книжки не было, зато близко – прямо у Антуанетточьего лица – вдруг обнаружилась коричневая туфля, тупоногая, начисто лишенная даже намека на женское кокетство, но зато крепкая, с ребристой тракторной подошвой и не пропотевшим еще лиловатым логотипом фирмы в просторном нутре.

Это же моя, – изумилась бедная Антуанетточка.

И тут на нее со всех сторон – наконец-то – внезапно и яростно нахлынула настоящая, реальная жизнь. Такая влажная, промытая, сияющая, что, казалось, проводи по ней мокрым пальцем – и воздух восторженно взвизгнет, словно голубоватая молочная бутылка. Которую вечно живая мама моет в раковине, набирая на пластмассовую восторпанную мочалку немного серо-коричневого паштета “Пемоксоли”, – и бутылка под маминым натиском то гневно ахает, то отчаянно скрипит, ловя мокрым прозрачным бочком невероятные, синие солнечные зайчики.

Какие бывают только в детстве.

Романс

И тогда Ника сделала аборт. И ничего не почувствовала. То есть было, конечно, больно. И страшно. Но больше ничего особенного – никаких обещанных душевных терзаний. Маму было очень жалко, это да. Она сидела в крошечной приемной на твердой кушетке и плакала так, как будто Ника уже умерла. На других кушетках ожидали своей очереди еще две барышни.

Ника вышла из кабинета бледная, как штангист, взявший рекордный вес, и старательно улыбнулась. Очень даже терпимо, – заверила она всех и на подсекающихся ногах пошла за ширму, чтобы засунуть в себя комок скрипучей хирургической ваты. – Очень даже терпимо. Барышни посмотрели с уважительным ужасом, а мама зажала распухшее неузнаваемое лицо краем Никиного детского полотенца и вдруг принялась раскачиваться, как на похоронах.

В животе у Ники больше не было ничего интересного. Месяц назад она приехала домой и прямо на вокзале, наскоро перецеловав поглупевших от счастья родителей, сообщила глубоким нутряным голосом информбюро: “Я развелась с Афанасием”.

В Никиной жизни всё всегда было банально, начиная с имени – хотели мальчика Никиту, получили девочку Нику. Да еще недоношенную. Играла Ника всегда бесшумно, училась хорошо, терпеливо несла общественные нагрузки и никогда ничего не просила. Не потому, что “Мастер и Маргарита”, а потому что стеснялась. И никто никогда ничего ей не давал. В смысле больше, чем полагалось.

Учиться в столицу Ника тоже поехала как-то вдруг, ни на что не надеясь, и так же вдруг поступила в солидный, очень технический и очень скучный институт. Правда, через год выяснилось, что в институте просто был недобор – учеба начала резко выходить из моды, – но Ника всё равно была благодарна. Она всегда была благодарна и на прощание неизменно вежливо говорила:

Спасибо. Извините, пожалуйста. До свидания.

Хозяева пугались:

За что – извините?

За беспокойство, – смущалась Ника, хотя ее всегда приглашали заранее.

Без приглашения она пришла только один раз в жизни – к Константину Константиновичу. Тихонько поскреблась в дверь и, когда он открыл – огромный, ненаклоняемый, двухметровый, с косо прорезанным угрюмым ртом, – так же тихонько пожаловалась:

У Афанасия есть ребенок.

Что? – почему-то испугался Константин Константинович и неловко посторонился: – Заходите, пожалуйста.

С Афанасием они поженились через две недели после Никиного приезда в Москву. То есть Афанасий первый раз остался ночевать в Никиной комнате через две недели после Никиного приезда и наутро, благодарный за откровенные и обильные доказательства Никиной честности, уже бегал по институтскому двору, таская Нику за руку и сообщая всем встречным сразу в настоящем времени:

Познакомьтесь, моя жена!

Ника не сопротивлялась, оглушенная тем, как быстро и незаметно всё произошло ночью. Сначала немножко больно, потом немножко противно, а потом всё равно. Но она терпеливо и старательно подстанывала, чтобы не обидеть сопящего Афанасия, – ведь чтобы жениться на ней, он на целую неделю раньше вышел из трудного осеннего запоя. Дней через десять Афанасий ударил ее в первый раз. Ника не успела даже понять за что, но неудобно, как со слишком высоких качелей, сползая с Афанасьевых колен, сразу поверила, что виновата. В детстве взрослые всегда наказывали ее только за дело. Афанасий был взрослый.

Но из губы чуть-чуть текло, и Ника на всякий случай попросила:

Уходи, – и, подумав, не очень уверенно добавила: – Насовсем.

К вечеру Афанасий вернулся, шумно и основательно пьяный, и долго с размаху бился о дверь Никиной комнаты, выкрикивая слова, полные любви и угрозы.

Открывай! – требовал он, бросая на штурм свое небольшое крепкое тело. – Проститутка чертова!

Обитатели общежития с восторгом высыпали в коридор и давали Афанасию сочувственные советы. Ника молча лежала в быстро темнеющей комнате и смотрела в стену. Она казалась себе жуком, которого мерно трясут в спичечном коробке. Под утро всё стихло, и Ника открыла дверь. Афанасий лежал на пороге, свернувшись калачиком, и вдохновенно, с облегчением спал, прижимая к смуглому, слегка просветленному лицу измочаленный букет хризантем.

Хризантемы Ника любила.

На УЗИ, как и везде, была очередь. В Нике булькал и нестерпимо просился на волю литр обязательной в таких случаях жидкости. В темном кабинете врач, с самого утра утомленный жизнью, надавил на Никин живот белой, тяжелой, как утюг, болванкой, Ника ахнула, по экрану метнулись серые мультипликационные тени, и врач скучно приговорил:

Пятая неделя. Внутриматочная. Плод развивается без пороков.

И вяло, по протоколу, поинтересовался:

Рожать будете?

Ника опустила глаза на свое обручальное кольцо – перед свадьбой мамину обручалку отдали на расплавку, и кольца у них с Афанасием вышли тоненькие, как проволочка, но всё равно кольца, как у людей.

– Так куда направление выписывать?

Ника молчала. На нее смотрела мама.

Через пару месяцев Афанасий предусмотрительно увез молчаливую Нику из общежития. В коммуналку. Там, в пустой, огромной, как собор, комнате предполагалось начать вить семейное гнездо.

Ника старалась. Комната была ничья – не то крестной Афанасия, уехавшей за границу, не то его спившихся друзей, – и предоставлялась в пользование влюбленных очень дешево, но временно. Афанасий таких абстрактных понятий, как время, не признавал – он мыслил глобально. “У нас впереди вечность! – провозглашал он по крайней мере трижды в день, громко падая на бугристый пыльный диван и увлекая за собой Нику. – Медовая вечность!” Если не удавалось спастись, с дивана Ника поднималась нескоро и, растрепанная, с зацелованными до кровавой жуткой черноты плечами, сразу плелась на общую кухню, на ходу застегивая старенькую мальчишескую рубашку. У Афанасия от любви всегда разыгрывался дикий аппетит. А Нику он любил воистину бессмертной любовью.

На кухне были грязь и соседи: глупая отставная писательница в выпуклых, как у морского окуня, очках, рыжий крохотный комедийный милиционер с супругой, которую Афанасий коротко и с ненавистью называл Шкаф, их сопливые близняшки, с утра до вечера молча и неутомимо, как заводные автомобильчики, ползающие по коридору, и Константин Константинович.

Константина Константиновича все боялись. Он уходил рано, поздно возвращался и на кухню заходил только за водой – с высоким сияющим кофейником и таким тяжелым, неподвижным лицом, что на кухне притихали даже кастрюли. С соседями он не разговаривал никогда, и Шкаф однажды доверительно рассказала Нике, что Константин Константинович – боль-

шой ученый, а квартиру разменял, когда разводился с женой, и по-благородному взял себе комнату в коммуналке.

А умню-у-ущий-то! Палата министров. Книжки к себе пачками так и таскает! – с неясной ненавистью присудила милиционериха, и Ника поспешно закивала головой. Она всегда со всеми соглашалась, чтобы не ссориться.

Иногда Ника даже боялась, что не сможет забеременеть вовсе. Афанасий исправно и самостоятельно оберегал ее от неожиданных неприятностей – и до, и после свадьбы, и Ника даже не сразу разобралась как. Но, в принципе, беспокоилась о возможном потомстве: а вдруг, когда будет надо, ничего не получится? Детей Ника хотела. Хотя бы двоих.

– Чего ты психуешь? – интересовалась ее единственная московская подруга – нервная изможденная художница с неразборчивым, но определенно гениальным лицом. – У всех получается, а у тебя нет?

У меня там кисло. Кислая среда, – вся корчилась от смущения Ника и судорожно терла плечом нежную щеку. Она терпеть не могла такие разговоры, но надо же было с кем-то посоветоваться. Взрослые женщины всегда советовались друг с другом по этому поводу.

Никина подруга разговоры любила – и такие, и всякие – и ехидно интересовалась:

Ну и что, что кисло?

Сперматозоиды в кислом мрут.

Ника вставала, чтобы налить еще чаю и спрятать от вездесущей подруги потемневшее от стыда лицо.

Сперматозоиды твоего Евлампия не сдохнут даже в царской водке! – с завистливым презрением констатировала подруга и, подумав, удивлялась: – Как ты вообще за него замуж вышла, не понимаю? Типичный пьяница и кобель. Да еще на шее у тебя сидит! Евлампий чертов!

Афанасий, – не обижаясь, поправляла Ника. Ей нравилось, что у мужа такое редкое имя. И отчество у детей будет красивое – Афанасьевичи.

Подруга возмущенно фыркала. Она досталась Нике от Афанасия, по наследству. Когда-то – разумеется, Ника об этом ничего не знала – у Афанасия с подругой был бурный роман длиной в целый запой и еще одну неделю похмельного дележа имущества. Роман иссяк, но нерегулярное творчески-половое общение осталось. В мастерской подруги даже висел громадный и не вполне приличный портрет Афанасия, написанный почему-то сажей и томатной пастой. Разумеется, об этом Ника ничего не знала еще больше.

После каждого посещения Афанасия подруга аккуратно приезжала к Нике и, борясь с уместным желанием продемонстрировать полученные в любовных схватках и хорошо знакомые Нике синяки и ссадины, ела теплые пирожки и вела просветительские беседы.

Ника очень ее любила и считала несчастной женщиной.

На аборт Ника была вторая. Мама ушла отдавать коньяк и сто долларов – пришлось спешно продать швейную машинку и папину новую шапку, – и Ника осталась один на один с некрасивой зеленоватой девушкой. Девушка прижимала к груди сверток с ампулами и бельем и угрюмо смотрела в пол. За дверью, в кабинете, что-то шумно мыли, передвигая тяжелое и пересмеиваясь, как на школьном субботнике.

Сидеть и молчать было тоскливо, и Ника вежливо спросила:

Вы в первый раз?

А?

Девушка подняла голову и непонимающе, как глухая, уставилась на Никины губы. Глаза у нее были белесоватые, с прямоугольными, как у козы, яркими зрачками.

Я спрашиваю: вы сюда в первый раз?

Девушка подумала и пожаловалась:
Тошнит очень.

Нику не тошнило. Она вообще ничего такого не чувствовала, только всё время хотела есть, еще с Москвы. И ужасно болела грудь.

Уж я чего только не делала. Таблетки даже пила. Не помогает.

Девушка с горделивым удивлением погладила свой незаметный живот и опять усталилась в пол. Ника таблеток не пила. Она до последнего надеялась на задержку и, припомнив все советы подружек, до одури лежала в горячей ванне. Потом вставала и, качаясь, голая, с покрасневшей пятнистой спиной и обваренными икрами, брела к родительскому дивану. Больше трех раз поднять всё равно не удавалось: перед глазами начинали плыть алые круги и что-то мелко мелко тряслось под коленками. Ника подтирала тряпкой пол и подливала в ванну свежего кипятка. Но внутри всё равно ничего не происходило.

Пострадавший букет хризантем оказался первым и последним подарком Афанасия – деньги для него были понятием столь же абстрактным, как и время. И Ника принялась кормить семью. Девочка она была исполнительная и небрезгливая, и ее охотно взяли в соседнюю поликлинику санитаркой на полставки. Но этого было мало – пришлось перейти на полторы и распрощаться с институтом. Формально Ника перешла на заочное, но первую же сессию радостно и с облегчением завалила. Она не успевала учиться и работать одновременно – она слишком любила Афанасия.

Заодно с ней ушел с дневного отделения и Афанасий. Предполагалось, что он тоже найдет себе работу, хотя бы дворником, но эта идея отпала сама собой. Афанасий увлекся музыкой и целыми днями лежал, пощипывая струны дешевой дощатой гитары. Он сочинял. У них в семье это оказалось наследственным. В принципе, единственным обстоятельством, омрачавшим Никин крошечный и ликующий мир, было то, что ее свекор со свекровью работали где-то на Урале знаменитыми композиторами.

Нику это, честно говоря, немного пугало.

Они с Афанасием только собирались подавать заявление, когда в подмосковный дом творчества приехала будущая Никина свекровь – отдыхать. Ника немножко не поняла, как это, – ее родители давно уже никуда не ездили, потому что зарплаты были маленькие, а детей двое, и нужно было им помогать, – но ведь ее родители не были композиторами. И Ника принялась готовиться к встрече.

Ей хотелось понравиться. Афанасий любил маму. Может быть, даже больше, чем следовало, но Ника не умела возражать. Она провела у зеркала два часа, и в электричке пьяный мужик, восхищенно сплюнув, хлопнул Афанасия по плечу:

– Красивая у тебя женщина, братуха!

Жена, – поправил Афанасий и благодарно приложился к Никиной руке. От ладони смутно припахивало хлоркой.

Ника действительно была красивой девочкой, но как-то не конкретно, а вообще. Ее надо было разглядывать. Постигать. Любоваться. Ее хотелось от чего-нибудь защитить. Ну, в крайнем случае – уберечь. Поэтому на улице на Нику обращали внимание не все подряд, а только истинные ценители: старички, пьяницы и творческие анархисты. В общем, люди, раненные жизнью навзлет.

На Никину свекровь на улице больше не оборачивались даже поэты. И этого она Нике простить не смогла.

Когда Ника с Афанасием приехали в первый раз, с букетом и маленьким дешевым тортом, свекровь сидела в своем номере – неподвижно, как идол с острова Пасха. Только самый крошечный идол.

Я не сплю уже сорок ночей! – произнесла она с чувством, глядя в пыльный вентиляционный люк. – Не могу спать, пока Россия терпит эти священные муки!

Добрый вечер, – испуганно ответила Ника.

И тут свекровь запела.

Бе-е-елой акации гроздь душистые, – выводила она прекрасным, драгоценно позванивающим в конце каждого такта голосом, по-прежнему гипнотизируя люк.

Познакомься, мамочка, это Ника. Мы скоро поженимся.

Боже, ка-а-а-акими мы были наивными! Как же мы молоды были тогда-а! – переживала свекровь, встряхивая благородно седеющей челкой и слегка дирижируя изящной увядающей кистью.

Ника прижимала к животу цветы и глупо улыбалась. Афанасий спокойно пристроил торт на тумбочку и достал из кармана мятую пачку.

Я пойду покурю, девочки, а вы тут пошушукайтесь.

Дверь за ним закрылась, и Ника осталась одна.

Свекровь пела.

Вошла врач, и Ника почему-то не смогла посмотреть ей в лицо, хотя это было очень важно – все подружки предупреждали, что молодые нарочно делают большее и тянут аборт подольше, чтоб в другой раз было неповадно. Но у этого врача лица не было – только белый накрахмаленный сквозняк, уверенный голос и хлопнувшая дверь. У вошедшей следом мамы лица не было тоже.

Недеогло! – провозгласили наконец из кабинета, и зеленая девушка поднялась. Уронила свой пакет. Медленно, как в воде, наклонилась.

Недеогло! – настаивал голос.

И дверь за девушкой закрылась.

Со свёкром Ника познакомилась гораздо позже. Он был в Москве проездом из Парижа и остановился у них с Афанасием на сутки. В Париж его откомандировали на месяц как лауреата конкурса на лучшую провинциальную кантату. Или частушку. Ника, честно говоря, абсолютно не разбиралась в музыке.

Получив телеграмму, Афанасий не то улыбнулся, не то оскалился краем задергавшегося рта и неуверенно предупредил:

Папаша у меня редкостная скотина.

Как ты можешь! – обиделась за будущего родственника Ника. – Про родного отца!

Но ничего, будет руки распускать – убью, – мечтательно успокоил себя Афанасий, и лицо у него посветлело.

Твой папа дерется? – не поняла Ника.

Господи! – блаженно выдохнул Афанасий и подхватил легонькую жену на руки. – Ангел Господень! Газель! Косуля моя золотая, зернышко мое теплое! Ну разве можно быть такой... м-м-м! Обожаю!

Ника слабо сопротивлялась. На кухне у нее кипел борщ.

Мама с Никой ждали своей очереди. Десять минут. Двадцать. Тридцать пять. Как в гестапо.

Долго как, – ужаснулась внутри Ника, пытаясь расправить ледяные и туго, как курки, взведенные лопатки. – Если она закричит – убегу. Или умру.

Мама смотрела в окно – в кусты глянцевого от солнца шумной сирени. Ника попробовала тоже, но не смогла. За дверью продолжали невыносимо, оглушительно молчать.

Свекор оказался симпатичный – шумный, бородатый, веселый. Нике понравился. Из Парижа он привез длинный батон, бутылку вина и большой булжжик из-под Эйфелевой башни. И еще шикарный бархатный пиджак Афанасию на свадьбу. Правда, почему-то своего размера.

Виноват, ребятки, перепутал! – жизнерадостно гукал он в бороду, поводя бархатными плечами. – Торопился в Лувр, черт подери! Лувр – это вам...

Пиджак сидел на нем как влитой. Афанасий мрачно кусал сигарету. Жениться ему было не в чем.

Не горюй, сын! Может, ушьем еще. Ну, подпояшем в крайнем случае. Орел будешь! – перекипал свекор через край.

Невысоконый и продолговатый Афанасий выглядел в пиджаке, как беспризорник времен Гражданской войны. Его хотелось усыновить, и Ника заторопилась на кухню. Возьму еще полставочки, Афанасий, может, куда устроится... Купим не хуже парижского, – озабоченно вздыхала она, мешая картошку.

Мужчины в комнате уже яростно спорили о музыке.

Зеленоватая девушка секунду постояла на пороге кабинета и довольно бодро пошла к кушетке. К Никиному облегчению, она совсем не изменилась. Ни капельки. В кабинете опять галдели и грохали, как будто прозвенел звонок на перемену.

Очень больно? – изнемогая от ужаса и любопытства, наклонилась Ника к свернувшейся в узел девушке.

Мама отвернулась от сирени.

Сама сейчас узнаешь, – отрезала девушка, утомленно прикрывая козы глаза, и капельки ее мелкой злой слюны долетели до Никиного лица.

Костецкая! – вызвали из кабинета.

Фамилия была чужая – Афанасия. Ника встала и пригладила волосы потной ладонью.

Может, все-таки дадут наркоз? – потерянно спросила она.

Мама молча заплакала. Наркоз стоил больше ста долларов. Зеленоватая девушка всё лежала, не открывая глаз, и Ника вдруг увидела, что она все-таки изменилась. Очень. Как куколка из дешевого пластилина, которую в кабинете случайно смяли или уронили на пол. А потом попытались исправить.

У Ники в детстве была целая полка таких кукол.

У Константина Константиновича оказалось безумно много книг. И очень красивая мебель. Ника робко стояла у двери, преданно, снизу глядя на хозяина и явно не осознавая, как тут очутилась. Она была похожа на игрушечного зайца, у которого кончился завод. Она совсем ничего не понимала.

Константин Константинович честно старался вспомнить, как ее зовут, но не мог. Его давно перестали интересовать люди. Особенно те, что живут рядом. Сорокалетний жизненный опыт убедил Константина Константиновича в том, что именно от них больше всего неприятностей и проблем.

– У Афанасия есть ребенок, – тупо повторила Ника и вдруг зарыдала, некрасиво растягивая рот, заикаясь и вздрагивая, как будто в нее стреляли. В упор.

Константин Константинович очень смутно представлял себе, кто такой Афанасий, но у Константина Константиновича когда-то была дочь. Лет на шесть помладше маленькой безымянной соседки. В детстве она умела так же невыносимо, беспомощно плакать из-за невероятных пустяков – раздавленного жука или потерянной конфеты. К тому же на рубашке у соседки не было верхней пуговицы.

И Константин Константинович решил, что стоит начать утешать.

– Нет, ребятки, Париж надо повидать! Культурный человек обязан хоть раз в жизни побывать в Париже!

Ника подкладывала всем картошку, тихонько отпихивала под столом свёкровы руки и соображала, сколько ставок и на сколько лет надо взять, чтобы повидать Париж и стать культурным человеком. Получалось, что до культурного уровня свекра придется тянуться минимум лет сто.

Афанасий согласно кивал отцу, прихлебывая коллекционный французский сухач, – он в очередной раз, к Никиному облегчению, бросил пить. В смысле, водку. Такое с ним случалось раза три в год, на время запоя творческого. Но, сотворив два-три шедевра, Афанасий с завидным постоянством запивал вновь – причем в пропорции, прямо соответствующей качеству написанной музыки. Так, после первой своей симфонии, которую Ника так и не сумела дослушать до конца, он буянил ровно неделю, а после прелестного романса “Сумасшедшая роза”, посвященного Нике, загудел почти на три месяца. Впрочем, симфония тоже была посвящена Нике. Афанасий был по-настоящему любящим мужем.

А “Сумасшедшая роза” приобрела даже некоторую популярность. Ее удалось продать, и Нике не один раз приходилось сидеть в комнате, всхлипывая и прижимая к разбитому носу мокрый платок, пока из приемника лилась трогательная музыка тут же храпящего Афанасия.

Слова к романсу написал приятель Афанасия, рослый, всегда слегка – в самую меру – небритый красавец, элегантно рифмующий розы со слезами. Нику он сочно целовал в щеку и называл сестренкой. Ника охотно кормила его борщом, пока поэт однажды не поймал ее на лестничной площадке. Ника вывернулась и долго остервенело стояла под астматически плюющим и свистящим душем. Но спустя неделю постаралась обо всем забыть. Она не умела разочаровываться в людях.

С кресла смывали кровь. И с пола. Толстенная санитарка плюхала в ведро огромную бурую тряпку и шумно возила ей по бугристому линолеуму. Ника посмотрела на санитарку с сочувствием. Ей тоже частенько приходилось убирать сразу после процедур. С кровью всегда была куча возни.

Врач сидела за столом и, быстро-быстро заполняя историю, жаловалась сердитой медсестре с веселыми ямками на смуглых, пушистых на свет щеках. Медсестра была похожа на хорошенького поросенка в накрахмаленной шапочке.

Все сроки проворонены! Куда только на УЗИ смотрят! Пишут шесть недель, а там все восемь. Руками пришлось выковыривать!

Ника ждала.

Ложитесь. Аллергия есть? Новокаин хорошо переносите?

Врач повернулась. Солнце било ей в спину, и Ника не видела ее лица – только черный силуэт с сияющей огненной каймой. Очень черный силуэт.

Не знаю, – честно ответила она. – У меня никогда ничего не болело.

Сейчас заболит, – заверила врач и снова пожаловалась медсестре: – Осатанели. Хоть бы пробу новокаиновую делали. С утра до вечера – одни аборты!

Похожая на поросенка сестра понимающе кивнула и разорвала упаковку первого шприца.

Коньяк Ника еще могла перенести – гости Афанасия иногда приносили с собой что-нибудь в этом роде в качестве праздничного букета. Но ветчина! Паштет! Банка с красной икрой! И не на праздник, а просто так, каждый день, как хлеб! Ника посмотрела на Константина Константиновича с настоящим страхом. Она месяц пыталась выкроить денег на порцию мороженого – маленький импортный шарик с привкусом синтетической клубники, – да так

ничего и не вышло. Ника больше всего на свете любила клубнику, пусть даже ненастоящую, но она копила Афанасию на куртку. Ему совсем не в чем было ходить.

Константин Константинович невозмутимо резал батон. Он слишком давно жил один и совсем недурно зарабатывал. Ему некому было приносить жертвы. К тому же от плохой еды у него было несварение желудка.

Свекровь кушала мало. То есть Ника, конечно, не знала сколько, но к их с Афанасием приезду в номере всегда стояла порция сэкономленного второго. Для Афанасия. Афанасий был по-своему благороден – он мог пропить Никину зарплату, но один он не ел.

– Открывает щука рот... – бормотал он, засовывая Нике в рот кусок остывшей котлеты.

Ника ненавидела себя, но ела. Они с Афанасием всё время головокружительно, но весело голодали. Точнее, подголаживали. Свекровь смотрела в сторону, неприязненно передергивая хрупкими плечиками. Ника ее понимала. Она бы тоже ненавидела человека, который объедает ее сына, да еще так быстро – порции композиторам в доме творчества давали ужасно маленькие.

Свадьбу свою Ника почти не запомнила – точнее, старалась не вспоминать. Иногда только всплывали неожиданно яркие, выпуклые и подвижные картинки.

Мама плачет... Свекор открывает бутылку вина прямо на улице, и перекрученная сияющая золотая струя гулко вливается в сердцевину задранной бороды, как в воронку... Мама моет посуду – гору посуды: свадьба была дома, пришла куча гостей и даже всеми забытая дальняя родственница с живыми крохотными фиалками в стареющих, тусклых, неживых волосах, – мама моет, а свекровь поет ей свой четырнадцатый концерт для чего-то с оркестром, искусно изображая все инструменты и деликатно, чтобы не помешать маме, дирижируя бокалом... Афанасий подхватывает Нику на руки возле ЗАГСа, подбрасывает к солнцу, маленькую, в солнечном, парчовом, кукольном, слишком тяжелом для ее слабеньких ключиц платье, – а вот кому невесту?! Мама плачет... Свекор рассказывает папе про свое последнее, черт подери, увлечение – да, ребятки, что за глаза были у этой женщины, что за глаза... Крошечные пирожки с печенкой и свиные отбивные. На сладкое – торт из шоколада с бутылкой шампанского, спрятанной в розах из несъедобной разноцветной помадки... Смуглая чистая струйка “стрелки”, бегущей по французским, безумно дорогим матовым колготкам – у Ники таких никогда раньше не было и уж точно никогда больше не будет; господи, и откуда в этой чертовой “Волге” столько острых углов... И мама опять плачет.

Наутро после свадьбы у Ники поднялась температура, а свекра со свекровью выгнали из дома.

В общем, скандал был полный.

Ника опьянела стремительно – как будто нырнула в мутную, чуть фосфоресцирующую воду. Комната мягко покачивалась, подталкивала под коленки, голос Константина Константиновича наплывал откуда-то, то с рокотом приближаясь, то откатывая, как волна, и тогда Ника мучительно встряхивала головой, пытаясь сосредоточиться. Иногда голос вопросительно взмывал вверх, и Ника поспешно кивала, боясь обидеть человека, который ее выслушал и накормил.

Лицо Константина Константиновича внезапно выплыло совсем рядом – огромное, бледное, – и Ника, на долю мгновения протрезвев, испугалась: она никогда не видела так близко чужое лицо.

– Вам лучше пойти к себе. Я вас провожу, – очень отчетливо и терпеливо, как ребенку, повторил Константин Константинович.

Ника опять непонимающе кивнула, бессмысленно, как кукла, блестя глазами и полуоткрыв влажный безвольный рот. На шее у нее, в теплой смуглой ямке, быстро-быстро дрожала живая ртутная бусина пульса. Константин Константинович почувствовал, что у него чернеет в глазах.

Ника неуклюже влезла на кресло, похожее на опрокинутый трон, и попыталась устроить на нем бесстыдно, невозможно раскинутые ноги. Юбка пузырилась, Ника возилась с ней, разглаживала, успокаиваясь от этих простых действий и мысленно привыкая к тому, что сейчас к ней, вывернутой почти наизнанку, подойдет другой человек, тоже женщина, и начнет нарочно делать ей больно, начнет делать с ней, внутри, страшные, нестерпимые вещи, но не насильно, а потому, что она, Ника, не только сама согласилась на это, но еще и заплатила за это огромные деньги.

Кресло стояло прямо напротив окна, наспех, неаккуратно замалеванного до половины белой масляной краской. Врач уже подошла к Нике с каким-то сверкающим, металлическим, чудовищным даже на вид инструментом и принялась деловито засовывать его Нике прямо в глубину живота, как Ника вдруг, вся приподнявшись, со взмокшей, напряженной спиной, закричала так, что хорошенькая медсестра уронила что-то острое и звякнувшее на стерильный, прикрытый тончайшей салфеткой столик.

– Дети, господи! Там же дети! – вопила Ника, отбиваясь от брезгливо перекошенного врача и судорожно сводя распахнутые колени, и всё показывала за окно подбородком, пока врач наконец не догадалась обернуться.

Константин Константинович ушел от Ники, как только почувствовал, что выложился не по возрасту и хочет спать. Спать в одной постели с другим человеческим существом, пусть даже с женщиной, пусть даже с молодой и привлекательной – Константин Константинович с искренним удовольствием посмотрел на едва прикрытую простыней, сопящую, мгновенно и пьяно уснувшую соседку, – нет уж, увольте. Когда-то, в прошлой жизни, на него жестоко, до истерик, до грязной ругани обижалась за это молодая жена. Тоже красавица, чуть-чуть грубовато, но восхитительно вылепленная, способная на самом пике любовной игры влить ему пощечину и с причитаниями, по-деревенски, разрыдаться: “Как ты смеешь вытирать после меня пальцы! Ты меня не любишь!”

Константин Константинович любил – очень по-своему. Но всё, связанное с жизнью человеческого тела, особенно чужого тела, вызывало у него необъяснимое, почти тошнотворное отвращение.

В комнате, – нищей, пустой, полуободранной, – едва ощутимо, молочно светлело. Какой кретин, однако, ее муж, – размышлял Константин Константинович, неторопливо и с удовольствием одеваясь. – Восхитительная любовница. Просто огонь. Жаль, что такая пьяная... Что она там плела про ребенка? Она сама еще ребенок...

Ника лежала носом в подушку, и на плече у нее, слегка блестящем от пота, желтел старый, полуотцветший синяк. Константин Константинович наклонился и, чуть не застонав от удовольствия и какого-то мальчишеского, невесть откуда вернувшегося озорства, поцеловал рядом с синяком прохладную, скользкую, горьковато-свежую кожу. Так, что неровно отпечатались зубы.

Ника потянулась, ласково, мутно улыбаясь, и пробормотала, не просыпаясь, что-то нежное, неразборчивое, домашнее, до такой степени не связанное с ним, стоящим рядом и только что заставлявшим это худенькое существо с прозрачными, залившими несвежую наволочку светлыми волосами стонать, и вскрикивать, и закидывать ему за шею слабые огненные руки, что у Константина Константиновича остро, первый раз в жизни заболело сердце.

Он мгновение поколебался на пороге, но так и не смог признаться самому себе, что маленькая пьяная соседка всю ночь принимала его за своего ублюдочного мужа, который регулярно напивался, как свинья, и колотил ее не меньше двух раз в месяц.

Ника, – неожиданно всплыло в памяти Константина Константиновича имя глуповатой, несчастной и такой хорошенькой соседки, – Ника... Ну что ж, поделом тебе, Ника. Утром будешь плакать, мучиться с похмелья, каяться, а к вечеру побежишь умолять своего благоверного вернуться.

И, быстро положив несколько крупных купюр на табуретку, стоящую возле дивана и простодушно изображавшую тумбочку, Константин Константинович вышел из комнаты.

Комната была пуста. Вещи, которые унес с собой Афанасий, заняли два чемодана. Ей хватило одного. Ника проверила паспорт, билет и присела на край дивана. “Ну-господи-благодаря”, – пробормотала она машинально мамину присказку и встала. Раньше она никогда не уезжала одна. Ее всегда кто-нибудь провожал. Всегда.

Из двери положено было выходить спиной, чтобы скорее вернуться. Афанасий всегда посмеивался, когда Ника с искренним ужасом кричала ему вслед: “Задом! Задом!” Ника потянула за собой подпрыгивающий чемодан и шагнула в коридор – лицом. Она не хотела возвращаться. В этом городе ее больше не ждал никто.

Ника уже открывала тугий входной замок, прикусив губу и неудобно придерживая ногой заваливающийся чемодан, когда из кухни вышел Константин Константинович в пушистом свитере, с ослепительным металлическим кофейником в левой руке и тонко дымящейся сигаретой в правой.

Ника затравленно оглянулась, втянув голову в плечи и чувствуя, как стягивает от жара кожу на скулах, щеках, даже на лбу. Чемодан с глуховатым стуком упал.

Константин Константинович на мгновение приостановился. От маленькой соседки пахло молодыми яблоками и бедностью, она так плакала ночью, и вскрикивала, и жалась к нему всем своим маленьким жарким горем. У нее были чудесные плечи и неповторимый изгиб спины. Чемодан валялся у ее ног, как выброшенный на берег мертвый китенок. Она была прелестна. У нее были растрепанные волосы и убитые глаза. Но руки у Константина Константиновича были заняты.

Когда Ника распрямилась, в коридоре стоял только круглый пыльный световой столб. Радио на кухне трепетно объявило: “А сейчас, по просьбе Дмитрия П. из подмосковного города Жуковского, прозвучит романс «Сумасшедшая роза»...”

Дети сидели на дереве – прямо за окном. Нике показалось, что их очень много: они облепили дерево, как птицы, крошечные, жадно вытягивающие шеи птенцы. Они всё видели. И Ника с холодеющим сердцем, мгновенно проваливаясь в дурноту и в детство, всем телом почувствовала, как им было интересно.

Она смутно ощущала, как орала и стучала в окно толстая санитарка, как посыпались с веток в разные стороны, словно порванные бусы, дети – ее кололи где-то в глубине, разрывали, тянули что-то; ужасно, мерно, спокойно, как насыщающееся животное, чмокал вакуумный насос; боль оказалась невыносимей, чем Ника смела мечтать, она подхватила Нику, закрутила, укачала, как в поезде...

Откуда-то появился Афанасий, опухший от водки, почерневший, с чужим из-за недавно сломанного в пьяной драке носа, незнакомым лицом, и, глядя в сторону, очень спокойно сказал: “У меня есть ребенок от другой женщины. Ему четыре года, и я ничего о нем не знал... Там есть квартира, я же не могу писать музыку в таких условиях, понимаешь...”

“Понимаю, понимаю”, – торопливо соглашалась Ника, чувствуя, как щекочат лоб невидимые струйки пота, и опять целый день собирала мужу вещи, отправляя его к другой женщине, перебирая рубашки, штопая носки и раскладывая всё, как учила мама, по целлофановым пакетам с наклейками “Старое”, “Новое”, “Зимой под свитер”...

– Ап! Готово! – выдохнула, как в цирке, врач, быстро продолжая что-то делать внутри Ники, но теперь с каждым движением чудовищная, тягучая боль уменьшалась, утихала, как будто отступала назад тяжелая черная вода, и Ника вынырнула на поверхность.

– Нашатырь!

От ваты веяло резкой свежестью, и Ника раздувала ноздри, хватала ее ртом. Она возвращалась. Какая разница куда. Она возвращалась.

Толстая санитарка уже готовно брякала ведром и шваброй. Медсестра что-то засовывала в нестерильный бикс. Ника с трудом подняла голову. Врач опять торопливо писала в историю что-то про Нику и ее бывшего ребенка. И чужие дети опять были здесь, за наполовину замазанным окном.

Они сидели на дереве, прижавшись к стволу щеками, – маленькие мальчишки с изодранными коленками и даже одна девочка. Ника видела, как задралась от усилий ее не очень чистая майка. Но теперь Нике было всё равно. Они не понимали, что видят. Они просто смотрели. Ждали следующей серии. И еще не знали, что в конце всегда надо благодарить.

Спасибо, – очень четко произнесла Ника и сползла с кресла. – Извините, пожалуйста. До свидания.

Медсестра посмотрела на нее с легким испугом.

Гулич! – вызвала врач, уткнувшись сморщенным, побелевшим от перчаток и спирта пальцем в следующую фамилию.

Ника подошла к столу и еще раз сказала:

Спасибо большое.

На здоровье, – машинально ответила врач и подняла голову.

“Самое обыкновенное лицо. Надо запомнить”, – подумала Ника и тут же забыла.

Впереди была дверь. И мама. И надо было еще повернуть ручку.

Старая сука

От мамы-армянки Джульетте Васильевне достались редкие, крупные, совершенно кобыльи зубы – не улыбнешься лишний раз; да и чему, спрашивается, улыбаться, если родилась ты в самом ничтожном месте на краю обитаемого мира? Нормальные люди жили в Москве или, на худой конец, в Ленинграде, а вся жизнь Джульетты Васильевны с самого детства была непрекращающимся географическим унижением: Приморск, Ивановка, Буйнакск, Щербинка...

Разве можно стать счастливой, оставляя на карте такие жалкие и грязные, словно пятна на старых обоях, следы?

В Приморске, крошечном, провонявшем рыбой городишке, который не так давно заслуженно разжаловали до статуса поселка, Джульетта Васильевна родилась – и это, честное слово, был самый скверный подарок в ее жизни. На дворе колом стоял 1952 год – ничего личного, просто Джульетта Васильевна предпочла бы другие обстоятельства времени, места, образа действия, причины, цели, да и степени заодно. Если следовать за учебником грамматики и дальше, то придется признать, что сопутствующие обстоятельства тоже подкачали: черт дернул Джульетту Васильевну, как Пушкина, родиться в России – только без ума и без таланта, да еще и в семье склонного к алкоголизму слесаря-недоучки и детсадовской нянечки, которая ненавидела детей так, что даже к собственной новорожденной дочке подходила, сцепив от отвращения челюсти в неистовый, почти бульдожий замок. Отцовскими чувствами слесаря никто так и не поинтересовался: мать Джульетты Васильевны в грош не ставила мужа-неудачника, будто мстила за все эти бесконечные ай ем, ай ем петк э сирем, ай ем петк е мецарем им амуснун, ай ем петк э ереханерс ерджанки мецанан сиро меч, ай ем¹, что твердили всю жизнь классические армянские жены, тихие и безропотные хранительницы буйного домашнего очага...

Такой же убежденной мужененавистницей была и бабушка Джульетты Васильевны, мамина мама, – носатая, зубатая, визгливая хамка. Своего мужа она свела в могилу пятидесятилетним, заунижала до смерти, так что не помогло ни зверское имя Тигран, ни brave перченые усы, когда-то сводившие с ума всех молоденьких красавиц. Бабка орала на деда Тиграна так, что соседи приходили даже с соседних улиц, чтобы насытить око зрением, а ухо – слушанием. И не было в далеком дагестанском Буйнакске в ту пору, когда не существовало ни телевидения, ни интернета, большей радости, чем посмотреть, как ссорится с мужем растрепанная толстая женщина, со смаком, неистово позорящая всё прелестное, ласковое, говорливое армянское племя.

Джульеттой внучку, кстати, назвала именно она. Никакого Шекспира, вообще ничего личного. Просто красиво.

В Буйнакск Джульетту Васильевну ссылали на вторую половину лета – на витаминчики. Бабушка, жадная, похожая на жирную злую индюшку, пичкала внучку переспевшими, подгнивающими фруктами – на местном (и без того баснословно дешевом) рынке такие отдавали просто даром: облепленные осами, все в карих подпалинах груши; подбитые яблоки; лопнувшие персики, истекающие пузырящимся, стремительно прокисающим соком. Это для моей козы, дорогая. Торговки презрительно морщили черствые крестьянские рты: все знали, что никакой козы у бабушки Джульетты Васильевны сроду не было. Не выдержала бы ее характера никакая коза.

От скверной, почти превратившейся в брагу фруктовой прели маленькая Жуля маялась животом – тоненько плакала по ночам и без конца дрис탈а, от чего бабушка злилась еще сильнее: “Будь проклята эта дура, твоя дочь, подумать только – прижила байстрючку от русского

¹ Я армянка. Разве я не армянка? Я армянка. Я должна любить. Я армянка, должна чествовать своего супруга, я армянка, мои дети должны расти счастливые и в любви, я армянка (арм.).

алкаша! Стирай теперь сам за этой засранкой, настоящий мужчина убил бы свою дочь за такое, а ты!” Дед Тигран, сутулый и безмолвный от бесконечного позора, молча шел к колодцу, полоскал в цинковом тазу крошечные, запачканные рыжим трусишки. Он звал внучку “балам” – “сладкая”, шепотом, всегда шепотом, чтоб, боже упаси, не услыхала жена, и Джульетта Васильевна презирала его так, что не позволяла до себя даже дотронуться. Потому что он был тряпка, дед Тигран, и отец был тряпка, а дедушка с папиной стороны вообще сбежал, потому что папина мама, другая Жулина бабушка, тоже была славная женщина, так что в смысле генов Джульетте Васильевне повезло. Мужчины в их кислотном, ядовитом роду вообще не выжили. Ни с одной, ни с другой стороны. Аминь.

Впрочем, с первой половиной лета дела обстояли еще хуже. Отца Джульетты Васильевны угораздило родиться в месте совсем уже непристойном (село Ивановка Бородулихинского района Семипалатинской области – нормальный ребенок должен знать свой адрес, повтори!), и это был такой тихий, затерянный в выжженной степи ужас, что Джульетта Васильевна с Нового года начинала с тоской отсчитывать дни до казахской ссылки. Ну почему, почему другие жили в Москве, а ей пришлось полжизни мыкаться по самым гнусным задворкам необъятной советской родины?

Обида на несправедливую судьбу, копившаяся всё детство, достигла апогея в 1968 году, когда шестнадцатилетняя Джульетта Васильевна наконец-то осознала себя в зеркале не как объект для причесывания, а как автономную единицу. По идее, отражение должно было ее только радовать, потому что, несмотря на безнадежно плебейский хромосомный набор (а может, именно благодаря ему), Жуля вызрела в бойкую девицу вполне товарного по советским меркам вида: густые темные волосы, аппетитные мякушки в нужных местах (мода на костлявые остовы раздавила империю только двадцать лет спустя) и даже приличная кожа, лишь самую малость подпорченная пятком багровых юношеских прыщей, да и с теми Джульетта Васильевна быстро и безжалостно расправлялась при помощи хозяйственного мыла. Тем не менее никто и не собирался влюбляться в оглашенный список несомненных достоинств. То есть вообще никто и никогда. Дело было не в лошадиной челюсти, конечно, а в каком-то сложном и не сразу заметном изъяне, и Джульетта Васильевна подолгу стояла у зеркала, пытаясь отгадать, почему мальчишки не только не подсовывают ей в портфель хрипловато-смущенные, спотыкающиеся на длинных словах записки, но даже за косы никогда не дергают, хотя вот же они – косы, длинные, тугие, с лиловатым лаковым отливом. Дергай не хочю. Они и не хотели.

Джульетта Васильевна часами рассматривала себя холодными пусто-голубыми выпуклыми глазами, но так и не поняла самого главного: что женщины, нормальные женщины, не такие, как она, всегда либо излучают свет, либо забирают его. И ни при чем тут ни кожа, ни косы, ни ямочки на предплечьях, ни ласкающий ладонь изгиб, ведущий от талии в области совсем уже запредельного сладострастия. Ты либо излучаешь свет, получая взамен предложения руки и сердца, и надежный штамп в паспорте, и внуков, и золотую свадьбу, и стремительно сбывающееся обещание умереть в один день. Либо забираешь свет, и тогда из-за тебя стреляются и развязывают войны, бьют смертным боем, осыпают проклятиями и поцелуями, запирают, не спрашивая разрешения, в тексты, разбирают по буквам, по жестам, по памяти, по слогам. И, как ризу Господню, целую я платья края. И колени. И губы. И эти зеленые очи. Джульетта Васильевна пожимала плечами и отходила от зеркала. Она по природе своей не умела ни излучать, ни поглощать. Да и, пожалуй, вообще не подозревала о существовании света.

Вызывающее отсутствие личной жизни Жуля с лихвой компенсировала переизбытком жизни общественной – благо кипеть в одном ритме и градусе со страной было жизненно необходимо всем, кому не хватало мозгов или связей на такую роскошь, как собственное мнение или персональный карьерный рост. Это Джульетта Васильевна понимала. Поэтому к окончанию десятилетки стала и заслуженной пионервожатой (дети, кстати, боялись ее до немоты, больше, чем когда-то, во младенчестве, – зловещего буки), и членом агитбригады, и членом

школьного совета, и членом еще десятка каких-то важных для жизни советской молодежи организаций – так что даже само перечисление этих во всех смыслах генитальных достижений и должностей не могло не привести приемную комиссию вуза в подобающий трепет.

Оставалось выбрать сам вуз – пара пустяков, особенно если ты не гений, не нацкадр, не прошла срочную службу в армии да еще и все десять школьных лет с колоссальным, почти альпинистским усилием вытягивала себя из вязкой, рвотной массы троечников в синеворотничковые хорошисты. К счастью, учителя были тоже люди, раздавленные теми же очередями, теми же магазинами, теми же закисшими, как половая тряпка, бытовыми проблемами. У каждого в анамнезе был свой папа – так и не преодолевший техникум тихий алкаш, или мама, способная одной оплеухой выбить из головы всю дурь заодно с образом Лермонтова и всеми простыми дробями разом. Ладно, Жуля, так и быть, садись, четыре. Джульетта Васильевна садилась, негромко и раскатисто торжествуя. Она знала, что всё равно выбьется в люди. А каким способом и какой ценой – на это ей было наплевать.

Однако, несмотря на неистовые мечты о столичной жизни, Джульетта Васильевна была не дура, и понимала, что в Москве ей никто не обрадуется. Пока. Надо было еще немного потерпеть, ограничиться союзными республиками – только выбрать правильную профессию и правильный институт, чтобы уже с этой ступеньки перепрыгнуть сразу на вершину вождяленого пьедестала. И Джульетта Васильевна часами перелистывала жирную белесую брошюрку для поступающих в вузы, выискивая точку приложения, которая поможет ей разом перевернуть ненавистный мир.

Выбор оказался простым и безотказным, как дырокол, – правда, сделала его не сама Джульетта Васильевна, а ее соседка по коммуналке, тетка Катерина, тощая, морщинистая, утратившая все признаки возраста и пола женщина, заброшенная в Приморск неизвестно за что ополчившейся на нее судьбой. Потомственная петербурженка, единственный вялый отпрыск огромной и почтенной семьи, каждое колено которой было украшено академиком, заслуженным деятелем или, на худой конец, профессором, она до тринадцати лет вела тихую жизнь интеллигентной советской отличницы, а потом вдруг начала вслух рассуждать о Боге и писать стихи такой удивительной, почти невыносимой сложности и силы, что пришедшие в ужас родители начали таскать девочку по психиатрам. Психиатры честно разводили руками и советовали Рижское взморье и побольше спать, но родители, напуганные каким-то еще в восемнадцатом веке удавившимся пращуром, не верили, глотали корвалол и с такой бестактной яростью караулили каждое движение своей бледной застенчивой дочки (опасаясь суицида, они запрещали ей прикрывать за собой даже туалетную дверь), что в конце концов получили, что хотели. Катерина попыталась удавиться в школе – на пояске от собственного клетчатого пальто – и следующие десять лет своей жизни провела, играя с жизнью в своеобразные шахматы: несколько месяцев в психиатрической больнице, несколько месяцев дома, наедине с обезумевшими (по настоящему, в отличие от нее самой) от стыда и горя родителями.

К сожалению, все клетки на этой шахматной доске оказались черными. Когда Катерину, вдосталь наигравшись, окончательно сняли с психиатрического учета, мать ее успела умереть от стремительного и злого, как лесной пожар, рака, а на сороковой день после ее смерти – в лучших традициях уважаемой когда-то семьи – покончил с собой отец, поставив в конце родовой истории замечательную, жирную, вполне заслуженную точку. Катя оказалась совершенно одна – без образования, без родственников, без стихов (лечили ее качественно, от всей души) и без малейших представлений о том, как и, главное, зачем ей теперь жить. К счастью, суицидальные наклонности у нее отобрали вместе с литературным даром; к еще большему счастью, в СССР везде были нужны уборщицы и посудомойки. А как тетка Катерина оказалась в Приморске? Да как она вообще оказалась на этой земле?

Честно говоря, Джульетта Васильевна мало обращала внимания на тетку Катерину. Она вообще мало обращала внимания на людей, которые были ей не нужны, – а зря, потому что как-

то на кухне, чудовищной, коммунальной, похожей на оживший кошмар, тетка Катерина вдруг подошла к ней и совершенно буднично спросила – ты ведь в десятом сейчас? Джульетта Васильевна кивнула, оторвавшись от гигантской выварки, – мать приставила ее караулить кипящее белье, чтоб не убежало или чтоб соседи не плеснули чернил. Мать Джульетты Васильевны, обладательницу самого помойного в округе рта, любили с особенной, изобретательной страстью.

Поступать куда собираешься? – поинтересовалась тетка Катерина и, пока Жуля, ошарашенная тем, что соседка, которую она мало отличала от сваленного в конце коридора ломаного инвентаря, вдруг оказалась говорящей, тетка Катерина как ни в чем не бывало продолжила – иди на журфак, девочка. Послушай меня, иди на журфак. Там твоё место.

Что? – изумленно переспросила Джульетта Васильевна, машинально тыкая в бурлящие простыни огромными деревянными щипцами, – где мое место? Но тетка Катерина уже снова замкнула за собой волшебную дверцу, ведущую неизвестно куда – может быть, в келью со спящими ангелами, а может, в отхожее место на задворках заросшего лопухами двора, – и, неся впереди себя непроницаемо тонкое и совершенно безумное лицо, вышла из коммунальной кухни. Больше они с Джульеттой Васильевной не разговаривали. Никогда.

Бог весть, что за провидение осенило в тот далекий день тетку Катерину, но Джульетта Васильевна ее услышала и поняла. И не только она. В дело вступили невидимые и усердные судебные исполнители – не те, что от слова “суд”, а те, что от слова “судьба”, – и в 1971 году Джульетта Васильевна действительно поступила в Казахский государственный университет на факультет журналистики. Казахстан был выбран вдумчиво и не случайно: во-первых, трудно не поступить, во-вторых, легко учиться, в-третьих, далеко от Приморска, в-четвертых, если что – поблизости отцовское родовое гнездо... То, что на самом деле от Алма-Аты до Красного Яра – тысяча с лишним километров, Джульетту Васильевну ничуть не смущало: в географии она была не сильна, да и вообще, признаться, эрудицией не блистала. Зато была бездарна, бессовестна и нахраписта – идеальные качества для журналиста, так что это действительно было ее место, и Джульетта Васильевна на всю жизнь сохранила нежные чувства к своей нелепой альма-матер и привычку писать “вы” с большой буквы даже в сценариях и статьях – такой же несомненный и вопиющий признак малограмотности, как неправильно поставленные ударения или привычка оттопыривать мизинец, поднося к губам чайную чашку.

Весь первый курс Джульетта Васильевна была упоена общагой (образчик чистоты, спокойствия и добродетели по сравнению с замусоренными родительскими пенатами), завываниями под гитару и спорами о смысле жизни, в которых лично ей не было равных. Никто не умел заткнуть собеседнику рот так нагло, ловко и зло, как Джульетта Васильевна, внучка, дочка и правнучка бесчисленного количества хамок, вынужденных пробивать себе путь в жизни при помощи крепких голосовых связок и таких же крепких костяных лбов. Помогла и многолетняя пионерско-комсомольская задорная выучка: родина вообще любила безмозглых, напористых и голосистых, так что Джульетта Васильевна и на журфаке не пропускала ни одного общественно-политического собрания, начиная с комсомольских собраний и заканчивая стройотрядами, которые каждое лето сновали по СССР, оставляя на память о себе дрянные покосившиеся коровники да всплеск кривой абортов в провинциальных больничках. Правда, и на казахском журфаке Джульетту Васильевну всё так же, как прежде, никто не любил, зато все побаивались и уважали, как уважают на дороге зловонный говновоз, который если не помнет крыло, так не ровен час обольет гнусной жижей или просто обвоняет.

Но на мнение окружающих подросток и заматеревшей Жуле было наплевать. Она была совершенно и полноценно счастлива – впервые в своей жизни, если, конечно, не считать того дня, когда она привела в подсобку завуча, чтобы он тоже полюбовался, чем занимаются на сваленных в угол матах Ирка Калютина, сочная переспелая восьмиклашка, и десятиклассник Стасик Оленев, высокий красавец с улыбкой такой убойной гагаринской силы, что дрогнуло

даже Жулино сердце. Кстати, Оленев был единственным парнем, который нравился Джульетте Васильевне – за всю ее жизнь! – вот только прочие мужчины ее просто не замечали, а этот – откровенно брезговал, по лицу было видно. Да вы сами посмотрите, Иван Николаич, чем они там занимаются, только идемте скорее, а то можем не успеть! Они успели, и Оленева за растление малолетней исключили из школы, вместе с Ирккой Калютиной, кстати, которая к тому же оказалась беременной, только вот непонятно от кого. Оленева мигом забрили в армию – жаль, что не в тюрьму, – а Ирка родила в срок мертвую девочку и навсегда уехала из Приморска; и вот – Джульетта Васильевна снова была счастлива. Как тогда.

Она даже чуть не забыла про Москву, вожделенную столицу, чуть не забыла про недоступный и невиданный Ленинград – но, к счастью, судьба оказалась сильнее, и между первым и вторым курсом в стройотряде Джульетта Васильевна встретила с Сережей Двойкиным, тихим смешным паренком с исторического факультета. В нем не было ровным счетом ничего примечательного: белесые вихры, сколиоз второй степени, хрящеватый, извилистый, как у стерляди, нос и вечные хвосты по всем предметам. Он был слабенький, с тонкими, почти паучьими, безволосыми ручками, так что его ставили по большей части на девчачью работу: помалыриничать там или воды на кухне поднести. Джульетта Васильевна девчачью работу не любила, запросто управляясь с тачкой или мастерком, – но в тот судьбоносный для себя день оказалась все-таки на кухне, прихваченная нехотая приключившимся поносом – буйнакская бабушка своей гнилью испортила ей желудок навсегда. Сережа Двойкин смиренно носил своей бойкой напарнице ведра, помог развести огонь, а над огромным баком паршивой проросшей картошки они со скуки разговорились, и Джульетта Васильевна с замиранием сердца узнала, что стерлядевидный недоделок, которого она и за человека-то не держала, оказывается, урожденный москвич – мамочкибожеймой! – урожденный! И мамаша, и квартира, и все дела! А в Алма-Ату приехал, потому что тут поступить легко, да и тепло, фруктов опять же много, а я по здоровью слабый, мне в армию нельзя, а в Москве бы точно на экзаменах срезался, – откровенничал простодушный Двойкин, неловко корябая уродливый клубень здоровенным ножом.

По всем законам романтического жанра обрезать должна была Джульетта Васильевна, да что там обрезать – она бы руку себе ради Москвы по плечо отхватила, зубами бы отгрызла, по живому, но Двойкин, раззява, расстарался сам: полоснул лезвием по неловкому пальцу и тотчас побелел, растерялся, оброс по лбу крупными каплями пота, будто это не палец, а горло, честное слово, вот урод! Остальное было делом техники. Джульетта Васильевна ловко присосалась к порезу горячими губами: у крови был волшебный граненый вкус – Красной площади, рубиновых кремлевских звезд, – и сердце бедного Двойкина билось с курантовым гулом, когда Джульетта Васильевна, задрав клетчатую мальчишескую рубашку и сверкнув нежным жиром живота, с хрустом оторвала кусок подола на перевязку.

Страсть, помноженная на диарею, оказалась гремучей. Через месяц они уже подали заявление, а еще через три образовали новую ячейку общества, отыграв негромкую общажную свадьбу, на которую пришли только любопытствующие соседи да любители выпить на шармачка. Друзей ни у Жули, ни у Двойкина не водилось, своих родителей Джульетта Васильевна известила письмом, а новоявленная свекровь – в качестве благословения – прислала сыну лаконичную и недорогую телеграмму всего в одно слово: “Идиот”. И была совершенно права: идиот оказался Двойкин первостатейный. Ну чего расселся, а? Шевели жопой! Опять всё из рук валится! Других слов любви Джульетта Васильевна просто не знала – жили они соответственно.

Сессия сменяла сессию, семейные скандалы накатывали один за другим, Двойкин, осознавший наконец весь ужас произошедшего, не просыпаясь, как маленький, плакал по ночам и чах, но даже через год законного супружества свекровь всё так же в упор не желала признавать невестку: не отвечала на письма, не звала в гости, делала вид, будто Джульетты Васильевны не существует. Джульетта Васильевна попробовала сильнее изводить Двойкина, но сильнее было

невозможно – бедалага достиг того края болевого порога, за которым страдание, многократно очистившись, превращается в эйфорию, приносящую жертве абсолютную свободу. При усилении нажима Двойкин запросто мог сбежать, запить, удавиться, наконец, – да и черт бы с ним, не жалко, но без него Москва так и грозила остаться уклончивой мечтой, заблудившимся отсветом старого маяка, разрушенного еще в прошлом тысячелетии.

Поразмыслив, Джульетта Васильевна решила срочно родить ребенка. Она почему-то была уверена, что свекровь смягчится при виде внука или внучки, – более чем странное умо-заключение, если учесть ее собственный семейный анамнез, в котором дети всегда были поводом только для упрека или шлепка. Ребенок, однако, не получался: Двойкин был слабым, нев-растеничным юношей, в неволе размножался неохотно, да и Джульетта Васильевна, с трудом выносившая всю эту тесно-телесную потную слюнявую возню, мало прибавляла несчастному жара. К списку упреков, и без того длинному, как список гомеровских кораблей, прибавился еще один – от тебя даже родить невозможно! Двойкин сжимался, жмурился и, беззвучно хлопнув хитиновой дверцей, уходил в себя.

Однако судьба оказалась милосердной, и дело о внукозаведении провалялось под сукном небесной канцелярии совсем недолго. Едва не доведя мужа до самоубийства и с грехом пополам сдав летнюю сессию, Джульетта Васильевна благополучно понесла и, проблевав положенное количество раз и вдоволь намучавшись с неподъемным пузом, весной 1973 года подарила человечеству дочку Таню. Что ж, мужчины отказывались не только жить, но даже родиться в этой семье.

Жаль, что Джульетта Васильевна поздно ощутила, как смыкается круг, – слишком поздно, только сейчас. Черт, да где эти тапочки? Как же я устала, кто бы знал, как устала, нет больше никаких сил... А что ты хочешь – тебе пятьдесят пять, не девочка уже! – сварливо отозвалась мать из комнаты. Кто бы сказал Джульетте Васильевне, что мать будет доживать дни вместе с ней; хотя еще неизвестно, кто и с кем доживает, – старухе было сильно под восемьдесят, но сдаваться она и не собиралась. Торчала весь день перед телевизором, черная, сморщенная, как сушеный ядовитый гриб, и всем была недовольна, всем, решительно всем. Черт меня дернул привезти ее сюда из Приморска, хотя что было делать? Кому-то нужно было при-смотреть за Ларочкой, пока эта идиотка, моя дочь, выходила замуж – первый, второй, третий раз! И что в итоге? Опять одна, опять дома, сидит на шее, льет крокодильи слезы, бестолочь, оплакивает свою личную жизнь. А что личная жизнь? Вон, за турка даже замуж выскочила – и где тот турок? Тю-тю, только и видали! Никому ты нахер не нужна, дорогая моя, так и знай. Дочка уродливо и грубо рыдала, выбегала вон, саданув дверью. Ты на ремонт сперва заработай, а потом всё вокруг круши! – мстительно кричала вслед Джульетта Васильевна; сама она, как разошлась с Двойкиным двадцать лет назад, еще в 1978 году, замуж больше не ходила – что там делать-то, замужем? Грязь только из-под мужиков собирать.

Джульетта Васильевна, кряхтя, наконец, нашарила тапки, вбила в них отекавшие к вечеру ноги. Москва далась ей тяжелой ценой любого дефицита: сперва – бесконечная очередь, потом – визгливая, жаркая давка у прилавка, рвешь, толкаешься, орешь, а дома развернула – и нитки торчат, и рукав перекошен, да и размер, похоже, совсем не тот. Вечного праздника не получилось: прожив в столице тридцать лет, всё с того же 1978 года, она ощущала тихий укол узнавания и радости – я в Москве! я в Москве! – только когда проезжала по Кремлевской набережной под хрестоматийно зубчатыми стенами – первый круг ассоциаций не слишком культурного человека. Как над ней издевались первое время на телевидении, над ее провинциальным выговором и провинциальным же апломбом, над дремучей необразованностью: “А вы читали такого-то, милочка? А учились где? Ах, казахский журфак...”

Кстати, свекровь не дрогнула, даже когда родилась Танька, – так и не ответила ни на одно письмо, хотя Джульетта Васильевна аккуратно отсылала ей фотографии, с протокольной бесстрастностью фиксирующие все этапы взросления внучки, – вот мы держим головку, вот

улыбаемся, вот наш первый зубок, дорогая мама, с любовью, Ваша невестка Жуля. Чтоб ты сохла, подлая тварь. Учиться с ребенком было трудно, девочка уродилась болезненная, вся в отца: густая перламутровая сопля свисает до верхней губы, закисшие бегающие глазки, вечный скулеж. Мужа Джульетта Васильевна выпихнула сперва в академку, потом на заочное – наплодил детей, так иди и работай, корми семью, дармоед! Истфак свой он в итоге бросил, завис на каком-то складе в сторожах, тихий, полупрозрачный, доведенный женой почти до idiotического, экзистенциального отчаяния. А вот Джульетта Васильевна вытерпела и получила-таки свой диплом о высшем образовании, лично пожала на сцене руку ректору и даже – как комсомольский полувожак – пролаяла с трибуны что-то про светлое будущее советской журналистики: выпученные глаза, вислый нос, темные, крупные, как котяхи, кудряшки. Когда Танька родилась, косы пришлось отрезать – некогда.

Свекровь умерла в 1978 году. Телеграмму принесли часа в два ночи: дурные вести всегда приходят ночью, хотя – почему дурные? Танька проснулась от дверного звонка, заныла, как она одна умела – пронзительно и монотонно; хозяйка, у которой они снимали угол (очередь на квартиру теряла очертания и смысл где-то на границе с грядущим тысячелетием), привычно стукнула в стену и принялась привычно же материться; а Джульетта Васильевна всё не верила ни глазам, ни пальцам, сжимающим сероватый телеграммный листок. Двойкин пришел только утром, небритый, в белесой щетине, воняющий нечищеным кариозным ртом и огромным, не по возрасту, одиночеством: он всё сторожил свою неудавшуюся жизнь, меняя склад на детский садик, детский садик – на магазин; Джульетта Васильевна не вникала, быстрее, быстрее, она даже поплакать ему не дала – затолкала в первый же поезд вместе с Танькой, честное слово – с ней было справиться легче, – быстрее, в Москву, в Москву!

На похороны Джульетта Васильевна не пошла – больно много чести; вымеряла шагами оставшуюся от свекрови двушку на Соколе, прикидывала, соображала, прикладывала к себе московскую жизнь то так, то эдак – удобно ли, не жмет ли, будет ли к лицу. Отца у Двойкина, слава богу, не было, братьев-сестер тоже. Хоть в этом повезло, разменяемся без проблем, а там – жопа об жопу и кто дальше улетит. Мам, – заскулила Танька, – мам, я хочу пи-пи... Джульетта Васильевна отмахнулась, и вдруг взвизгнула от утробной, шалой радости, и понеслась по всей квартире, высоко вскидывая ноги, гладкие, круглые, молодые, – господи, ей ведь двадцати шести еще не было! Еще не было двадцати шести!

Через несколько месяцев двушку свекрови разменяли. Джульетта Васильевна с дочерью переехала в однокомнатную конуру в подмосковную Щербинку, а Двойкин – в такую же точно малометражку в Химках; от алиментов Джульетта Васильевна благородно отказалась – знала, что платить всё равно будет как миленький. По законам РСФСР. Больше они с Двойкиным не виделись никогда в жизни. Да и зачем? Москва, слава богу, большая.

Из Щербинки Джульетта Васильевна выбралась только в 1994 году – и это была трудная, ой, трудная дорога к свету. Москва оказалась не только большой, но и жесткой, куда жестче самой Джульетты Васильевны. После казахской “молодежки” она сунулась прямо на центральное телевидение – да что вы себе позволяете, я молодой специалист, прибывший из союзной республики, ребенка одна воспитываю, да есть, есть у меня прописка, а вот письмо из ЦК ЛКСМ Казахстана и грамоты за особые успехи, я на вас жалобу напишу, я до самого Леонида Ильича дойду, вы права не имеете! Ее не сразу, но взяли – скандалить и качать права Джульетта Васильевна умела всегда.

Добираться до Останкина из Щербинки оказалось не проще, чем из Алма-Аты, Таньку в ясли надо было приводить к восьми – она выла, падала, Джульетта Васильевна тащила ее по темным улицам за выворачивающуюся ручку, не поднимая, волоком – а ну замолчи, для тебя же стараюсь, дрянь, паршивка, прекрати визжать! Дед Тигран медленно поворачивался в гробу, на впалых мертвых щеках блестели дорожки нетленных слез, в электричке давка, потом автобус, метро, троллейбус и немножко пешком. Смешно, но ее взяли не в корреспонденты, а в

редакторы – и так в редакторах она и осталась: бойко правила чужие тексты, не умея писать собственных, вообще не чувствуя и не понимая ни законов, ни дыхания, ни ритма родного языка. Как все плохо образованные и амбициозные люди, она обожала выговаривать авторам за недостающие запятые, но не замечала не доезжавшей до станции и слетевшей шляпы, вообще была лингвистически совершенно глуха. Вы бы, милочка, учебники, что ли, почитали! Джульетта Васильевна скалилась, изображая любезную улыбку, она продвигалась по карьерной лестнице с огромными, титаническими усилиями, без проблеска таланта и обаяния, без любовников, без дружеской поддержки, без, без, без. И все-таки продвигалась!

Это была, кстати, отличная школа. Когда схлынула перестройка и Джульетта Васильевна, до дна испив парашную телевизионную чашу, перешла работать в киноиндустрию, она была не только сформировавшимся руководителем, но и законченным, почти совершенным монстром. Никаких письменных приказов, только устные распоряжения с глазу на глаз – она отказывалась от сказанных наедине слов публично и с видимым удовольствием; возраст уже позволял ей злорадствовать в открытую, люди терялись, путались, пробовали возмущаться – но вы же сами велели! Джульетта Васильевна поднимала в нитку выщипанные брови – я? Велела? Как вы смеете врать мне в лицо? На киностудии только начинали варить бесконечное отечественное мыло, смешивая скверно пахнущие ингредиенты по латиноамериканскому образцу; опыта ни у кого не было, так что по всем биологическим законам в начальники мог выбиться только самый свирепый экземпляр. Джульетту Васильевну быстро сделали шеф-редактором чудовищного псевдоисторического стосерийника, потом еще одного – про некрасивую, но честную девушку, мыкавшуюся в поисках личного счастья в джунглях современного бизнеса. Джульетта Васильевна, к тому времени благополучно забывшая даже сказки Шарля Перро, радовалась оригинальности идеи, строила сценаристов, сюжетчиков, диалогистов, орала, топала ногами, хамила в лицо. История про уродину, нашедшую своего принца, имела оглушительный и вполне ожидаемый успех – сказку про Золушку подзабыла не только Джульетта Васильевна. Ей повысили зарплату, выдали отдельный кабинет и поручили еще один бесконечный сериал, который провалился – так же оглушительно, как прогремел первый. Но с точки зрения бизнеса это не имело значения, к тому же Джульетта Васильевна освоила распил бюджета и систему киношных откатов. Вообще, быстро стало ясно, что помои – это ее стихия.

Подчиненные – тихие причудливые исчадия ВГИКа и литинститута – ненавидели ее так, как можно ненавидеть только природный катаклизм или судьбу, в одночасье изуродовавшую жизнь. Одна придурочная сценаристка как-то плюнула ей в лицо, Джульетта Васильевна только усмехнулась: короткая стрижка, густо покрашенная седина, от наладившейся жизни она раздобрела, пошла складками, залоснилась, как личинка, и даже как-то распрямилась внутренне. Сценаристку она просто изничтожила – ей отказали в работе на всех студиях, благо было их в ту пору мало; сценаристка каялась, просилась на прием. Джульетта Васильевна дала ей заплакаться и наунжаться – девочка была молоденькая, свежая, от рыданий у нее вспухли губы, мокрые, яркие, в уголках вздрагивающего рта – пузырьки слез, сладковатая слюна, на золотистой коже – такие же золотистые, чуть темней, едва заметные конопушки. Почему-то всё это было необыкновенно томительно и приятно. Езжай назад в свою пырловку, дитя.

Джульетта Васильевна продала конуру в Щербинке и купила квартиру – наконец-то в Москве, в самой Москве. Только Танька портила всё своими идиотскими упорными походами замуж – так плохие альпинисты раз за разом пытаются покорить вершину, которая существует только в их воображении. Ни одного твоего хахалю в квартиру не пропишу, и не надейся, – предупредила Джульетта Васильевна; когда-то она уже слышала эти слова, кто-то говорил их, может быть, даже про нее саму, – впрочем, давайте сразу договоримся, что всё похоже на всё, как писал Юрий Олеша, которого Джульетта Васильевна не читала. Ларочка родилась от первого Таниного брака. Или от второго? Это было не важно. Джульетта Васильевна полюбила ее сразу, как только взяла на руки. Она оказалась нежнейшей из бабушек: пальчики на руч-

ках, пальчики на ножках – гладкие, круглые, сладкие, как ягодки; пока всё не перецелуешь, не успокоится сердце. Ларочка даже плакала, как колокольчик, – ты моя колокошечка, гулила Джульетта Васильевна; уйди, баба, – брезгливо кривилась внучка, отодвигала горячими ладошками наплывающее на нее огромное лицо. Слезы деда Тиграна, должно быть, высохли, как его кости, а?

Как тебе “Богатей”, мам? – спросила Джульетта Васильевна, входя в комнату. Говно, – привычно отозвалась мать; ей никогда нельзя было угодить. Впрочем, сериалы все ругали – так было положено. Все ругали и все смотрели. Не “Культуру” же, честное слово, смотреть. “Богатей” – это была первая работа Джульетты Васильевны на новой студии, многосерийка про олигарха, настолько нелепая, что ее сняли с эфира, не дождавшись конца показа. Да, нелегко менять работу, когда тебе за пятьдесят, но на прежней студии Джульетте Васильевне не давали расти выше шеф-редактора, а тут она сразу стала продюсером. Бессмысленное слово. Ничего не значит. Совсем ничего.

Ларочка спит? Мать кивнула, Джульетта Васильевна заглянула в комнату: ночничок в виде розового цветка, розовое одеяло, огромные ресницы лежат на розовых щечках; если у любви есть цвет, то этот цвет – розовый. Джульетта Васильевна тихо прикрыла за собой дверь. Кровать Таньки была пуста – значит, опять где-то шляется, пытается пристроить свои бесцветные, тощие, никому не нужные прелести. Ничего: получит в очередной раз по одному месту мешалкой – прибежит. Иди и ты спать, мам. На этот раз старуха не снизошла даже до кивка. Джульетта Васильевна посмотрела на нее белесыми от усталости глазами и пошла к себе в комнату.

У нее теперь была своя комната. Она до нее дожила. Заслужила.

Джульетта Васильевна, кряхтя, разделась, огладила ладонями оплывающую плоть, никем не любимую, никому не нужную: подпревающие пятна под вислой грудью, вялые морщинистые складки на больших боках, опустевший пупок – не лакомая ямочка, предусмотренная природой, а давно уже неопрятный темный овраг. Не буду мыться – разрешила она себе; всё завтра утром, чтобы наверняка прийти на работу свежей, чтобы никто не уловил тусклый, тягостный запах, слабое, начинающееся гниение, еще не уловимое ни снаружи, ни внутри, но уже отчетливое для самой Джульетты Васильевны.

Я не умру, – сказала она громко, почти с вызовом, глядя на иконостас в углу комнаты. – Не умру. Мне нельзя. Ларочка еще слишком маленькая, слышишь? Бог не ответил – единый, размноженный на деревянные, плоские, смуглые лица. Он никогда не отвечал Джульетте Васильевне. Может, и другим тоже не отвечал, она не знала, но не отвечать ей – это было хамство и неуважение, и за это Джульетта Васильевна ненавидела Бога отдельной от других, особенной ненавистью, замешанной на униженном, каком-то ценящем страхе. Лет пять назад страх стал брать верх, и тогда Джульетта Васильевна начала ходить в церковь и Великим постом поститься со всеми неаппетитными подробностями: ничем не заправленная гречневая каша, тертая свекла, хлеб да квашеная капуста, от которой ворчал живот и в самый разгар важных переговоров приключалась внезапная, гулкая, круглая отрыжка, окутывавшая Джульетту Васильевну облачком отчетливой желудочной вони. Бог кишечной жертвы не принял, продолжал вызывающе, презрительно молчать, и Джульетта Васильевна стала бояться и ненавидеть Его еще сильнее.

Постель была ледяная, волглая – одинокая постель одинокой женщины. Впрочем, все постели в их доме были такие – и все женщины. Мама, Джульетта Васильевна, Таня. Одинокие, ледяные, волглые. Никто их не любил. Никто не любит. Никто никогда не будет любить. И Ларочку, когда она вырастет, – тоже. Джульетта Васильевна вдруг поняла это с той же удивительной уверенной ясностью, с которой в пять лет верила в то, что, если обманешь дедушку Ленина, сразу умрешь. Нет, даже не верила – просто знала. Это была правда – такая большая, что с ней ничего невозможно было поделаться. То есть вообще ничего. Эту правду можно было

только перерасти или смириться с ней, поэтому Джульетта Васильевна смирилась, закрыла глаза и приготовилась считать унылых, серых, бесконечной чередой удаляющихся к горизонту слонов; но вместо этого вдруг некстати вспомнила, как днем на работе ненароком подслушала разговор двух студийных девиц, куривших на лестничной клетке. Девушки были из сценарного отдела – наглые, молодые, свободные, еще не хлебнувшие положенного лиха. Они вышучивали какую-то старуху, которая делала грамматические ошибки, и Джульетта Васильевна сперва решила, что речь о какой-нибудь выжившей из ума сценаристке, да и говорили девушки негромко, особенно та, что постарше, смешливая нахалка, помешанная на модных тряпках, – ясно, что шлюха, а ведь поди ж ты – есть муж, возит ее на машине с работы и на работу, бежит навстречу, как мальчишка, влюбленно заглядывает в глаза, Джульетта Васильевна сама видела в окно кабинета, тут ей тоже дали кабинет, даже больше, чем прежний. Девушки шушукались, а потом вторая, рыжая, помоложе, – она, кстати, тоже была замужем, а ведь обе страшней ее Таньки в сто раз, – вдруг засмеялась и спросила – а ты не слышала, как она рассказывала, что ее любимая книжка – “Дневники новой русской-два”? Прикинь, она даже не стесняется! Старшая, судя по голосу, затянулась сигаретой. Ну что ты хочешь, – сказала невнятно, сквозь горячий носовой дым, – она же дикая совсем, казахский журфак.

И только тогда Джульетта Васильевна поняла, что это всё – про нее.

Ей стало больно и горячо во рту, как будто от удара, – как-то в школе ее здорово отколотили одноклассники, не помню за что, не важно за что; важно, что это было так же больно и горячо. Ужасно ведь было не то, что девушки говорили гадости, – на телевидении и в кино все говорили друг про друга гадости, это была такая специальная среда, питательный бульон для выращивания человеческого дерьма, зачем-то нужный Богу, может быть, для того, чтобы дерьма становилось меньше в другом месте. Ужасно было то, что девушки ее не боялись, – и это было ясно по смеху, по голосам, по тому, как они, столкнувшись с ней пролетом ниже, нисколько не смутились, а старшая даже улыбнулась ей – открыто и почти сочувственно, как будто не они были внизу, а она наверху, а совсем наоборот.

Уволю гадину. И вторую тоже! – пообещала Джульетта Васильевна себе и Богу. И тихонько, едва слышно спросила:

– За что они меня?

Ответа не было, хотя Джульетта Васильевна честно ждала, ждала, пока слоны снова не потянулись к горизонту, уныло покачивая морщинистыми боками, – первый, второй, тринадцатый, двести сорок пятый. На триста каком-то слоне Джульетта Васильевна сбилась, испуганно и недовольно дернувшись всем телом – будто шла по тропинке от курятника до бабкиного дома, боясь оступиться и держа в напряженных руках полную тарелку смуглых, шероховато-теплых, живых и внутри, и снаружи яиц.

Тропинка вильнула по двору, пытаюсь разминуться с поленницей, – дрянь было хозяйство у бабки, всё расшвыряно, набросано, ни для чего и ни для кого нет своего места, – и в будке тотчас завозилась, заклокотала цепная сука, старая, почти слепая, но всё равно до краев наполненная яростным гулким рыком. Ее никак не звали – сука и сука – и ни разу не спустили с цепи, ну, может, только в щенячестве, но этого Джульетта Васильевна не застала. Когда ее начали привозить к отцовской матери в Ивановку, сука уже была матёрой, лютой тварью, хриплоголосой и оглушительной, как репродуктор, который висел на столбе у ивановского сельсовета. Репродуктор считался сломанным, но несколько раз в неделю из него вдруг начинали вырываться какие-то рычащие, грозные звуки – невнятные и от этого особенно внезапные. Не то марши, заблудившиеся с недалекой войны, не то обрывки абсурдных речей какого-то иностранного кретина. Селяне матюкались – так же привычно и бездумно, как предки их когда-то крестились, услышав грозные раскаты, – а сука приподнимала седеющую голову и, внимательно выслушав ей одной понятное послание, принималась брехать и рваться с цепи с такой одушевленной, сосредоточенной злобой, что становилась похожа на человека.

Умолкала она, только когда бабка швыряла в нее поленом или окатывала ведром воды – спасибо, что не кипятком; бабка не любила мыться, и в доме у нее воняло, а били вообще в Ивановке всё и всех – баб, детишек, скот, друг друга, так что побои, со дня рождения выпадавшие на долю старой суки, были таким же обычным и раз и навсегда установленным ходом вещей, как рассвет, закат, приход колорадского жука или председателевы запои. Джульетта Васильевна суку не любила – кого она, впрочем, вообще любила, кроме внучки? – и, ловко швыряясь щепками, доводила собаку до таких неистовых высот истерики, что сама начинала слышать, как в косматых, клочковатых боках беснующийся суки колотится, жалобно вскрикивая на вдохе, старое, усталое, надорванное злобой и так и никому не пригодившееся сердце.

А потом старая сука стала слепнуть и всё больше времени проводила в будке – в коротких, призрачных, ярких сновидениях, которые ловко и быстро подергивали ее за лапы и за брыла, как в те далекие времена, когда старая сука была еще круглым умильным щенком с тугим голым пузиком и видела во сне такие же точно радостные, бессмысленные погони за невиданными бабочками и радужными пузырями... А ведь никто с ней так ни разу и не поиграл и ни разу ни за кем ей не пришлось гнаться, обмирая от счастья, молодости и кипящего в мышцах щекотного, головокружительного света. Она была еще полна привычной, вполне осмысленной, но беспричинной злобы, но сил теперь хватало только на то, чтобы таскать за собой спекшуюся от времени и с каждым днем всё более неподъемную цепь. Запахи, звуки: тонкие – ночью, и грубые, сочные, лопающиеся – днем, – исчезали, таяли, один за другим, один за другим, и всё ближе подступала тьма, безмолвное небытие, в которое падают один раз, но навсегда. Без всплеска, без надежды, без прощения, без надежды на прощение.

Последним, что связывало ее с жизнью, оказалась будка – покосившаяся, уродливая, щелястая, набитая перепревшими тряпками и шелкающей от блох соломой, – но это было ее место, и она, старая, едва шевелящаяся, никем не любимая, была готова сражаться за это место до смерти, до конца, не понимая, что конец этот уже наступил, и бабка, уставшая от старческого пустопорожнего бреха во дворе, уже сходила к соседу, уже отнесла ему залитую сургулом чебурашку с самой дешевой и паршивой водкой. Все у них в роду были жадные. Жадные и злые. Колено за коленом, поколение за поколением. Со всех сторон.

Сосед пришел к вечеру – почему-то всегда такое случается к ночи, будто темнота действительно тут при чем, – и собака в последний раз рванула навстречу врагу, оберегая свое никому не нужное место: старая, слабая, жалкая, вся в парше; только ярость была молодая, ярость не старела, и в наплывающих сумерках эта последняя ярость была такой яркой, что затмила собой даже вспышку выстрела и последний визг старой суки, ее последний, собой захлебнувшийся вздох.

Джульетта Васильевна вздрогнула еще раз – и проснулась, мокрая от пронзительного ужаса насквозь – приснится же такая хрень, вот, ночнушку теперь стирать, да за что ж мне это, господи, за что меня так? И вдруг замерла, глядя в черноту перед собой, – в голове, внутри, было ясно-ясно и пронзительно холодно, будто кто-то протер там всё ледяным сияющим кубиком замороженного света. Это и был ответ. И не ответ даже – это было продолжение разговора, ее разговора с Богом, тихого, непрерывного, длиной в целую жизнь монолога – ее и Его, в котором оба не поняли и не расслышали ни слова.

За что меня так, тихо повторила Джульетта Васильевна – и вдруг заплакала, тихо-тихо, так что сама не заметила, что плачет, а может, просто не поняла: в последний раз она плакала еще в детстве, когда осознала, что никогда не будет жить в Ленинграде или в Москве, где радостные интеллигентные люди в лаковой обуви ходят в кинотеатры и в консерваторию, которую маленькая Жуля представляла себе нескончаемым складом, набитым консервными банками с дефицитной тушенкой. И что с того, что она доживает свою единственную жизнь в Москве? Ни лаковых туфель, ни консерватории ей так и не досталось, не выпало, не срослось, а Ленинград стал Санкт-Петербургом, и она раз в месяц летает туда в командировки, в

филиал киностудии, и часами без толку орет на оторопелых сотрудников, тараша пустые от ярости, бледно-голубые глаза, а потом долго-долго сидит одна в номере отеля, прислушиваясь к тому, как тихо и неостановимо, будто зародыш, растет в ней опухоль, и тьма приближается, приближается тьма, такая непостижимая и страшная, что ни шелчок выключателя, ни вторая таблетка тазепама не способны принести ни спасения, ни облегчения...

А сучек этих я всё равно уволю, – пробормотала Джульетта Васильевна, закрывая глаза. И Бог тотчас умолк, как будто Его и не было. Но Джульетта Васильевна не заметила, как не замечала Его всю жизнь, – она уже спала, подтянув к груди толстые старые колени, и на лице ее, словно лимон в остывшем чае, плавала слабая, светящаяся, совершенно детская улыбка.

Татина Татитеевна

После второй операции стало ясно, что она безнадежна.

Галина Тимофеевна поняла это, как только зеленоватый, прорезиненный от наркоза воздух вернулся в ее иссеченный швами живот. Тихонько жужжал обезжиренный свет палаты интенсивной терапии, расплывалось, неверно двоясь, доброе, округлое, словно бутон, лицо Тамары Алексеевны, ее лечащего врача, и неторопливо, исподволь, осторожно трогая тяжелой лапой и опять выжидательно замирая на месте, возвращалась боль.

Болело то намученное место, которое раньше звалось желудком и которое уже унесли в эмалированном стерильном тазу – по прямым, безапельсионным коридорам онкологического института – куда-то в сторону отделения патоморфологии, хотя и без дополнительного исследования было ясно, что у Галины Тимофеевны рак, который в ближайшие месяцы словет ее окончательно, если только прежде она не умрет от голода. У Галины Тимофеевны теперь не было желудка – крошечная культя, заботливо сшитая из лоскута пищевода, вряд ли могла бы прокормить даже новорожденного котенка. Но зато у Галины Тимофеевны было двое детей – двенадцатилетняя Лиза и четырнадцатилетний Герман, – муж с аккуратной бородкой неудачника, старый больной отец, тридцать четыре года прошлого и – по самым оптимистичным прогнозам – три месяца непрекращающейся боли впереди.

И Галина Тимофеевна изо всех сил начала жить. Всё как будто осталось прежним: она вернулась домой и привычно впряглась в уютное семейное ярмо, провожая мужа на работу, проверяя Лизины сочинения и мучаясь над физикой Германа. Галине Тимофеевне хотелось остаться в их общей памяти самой обыкновенной заурядной мамой, а не пожелтевшим невесомым телом, бесплотным распластанным в полумраке спальни. И поэтому она, как и раньше, честно готовила домашним завтраки, ужины и обеды с тройным сюрпризом, когда у каждого возле прибора вдруг оказывалась толстая сдобная куколка с изюмными глазками или крошечный многоэтажный бутербродик, насквозь пронзенный цветной игрушечной шпажкой...

Это было очень трудно, потому что приходилось весь день двигаться в потоке вялой, густой, мутной боли, которая с незаметным ласковым постоянством всё усиливалась и напирала, так что к вечеру Галина Тимофеевна обычно брела, погрузившись в болевой поток по самую шею. Боль умела немного укрощать только Тамара Алексеевна при помощи дефицитных уколов и громоздких урчащих аппаратов, но к Тамаре Алексеевне можно было приходить только два-три раза в неделю. И еще непрерывно хотелось есть.

Какое-то время Галина Тимофеевна могла проглотить немного жидкой каши или младенчески перетертого мясного пюре, но культяпка, играющая роль желудка, упрямо сопротивлялась, число глотков уменьшалось с каждым днем, и уже через месяц после второй операции Галина Тимофеевна перешла на воду и слабенький бульон. Еще через два месяца она была похожа на узницу лагеря смерти и ослабела так, что готовила, сидя на табуретке, привалившись костлявым боком к теплой газовой плите и двумя руками пытаясь удержать невесомую алюминиевую шумовку.

Один раз она все-таки не сумела сдержаться. Муж всё чаще задерживался вечерами где-то на окраине своей собственной жизни, но Галина Тимофеевна, не жалуясь, ждала, покорно, раз за разом, разогревая ужин и понимая, что ей, собственно, давно уже пора, что даже врачи, встречаясь с ней в коридорах онкологического института, недоуменно и недоверчиво округляют глаза, и приходится, извиняясь и пряча лицо, объяснять – да, это всё еще я. Всё еще я. Простите.

У нее уже проступили челюстные мышцы, как у настоящего трупа или полуободранной гипсовой человеческой головы, по которой студенты-медики изучают анатомию; но вечером всё так же мирно мурлыкал телевизор, переругивались в своей комнате вовремя накормленные

дети, и всё так же в ожидании хозяина исходила тонким паром тарелка на обеденном столе. Синяя тарелка с большой, смуглой от жира котлетой и полупрозрачной, ломтиками обжаренной картошкой, от которой невозможно было отвести глаз.

Муж пришел в тот вечер совсем поздно и пьяный, хотя вообще-то не пил – не умел: мигом перебирал положенную дозу и, хихикая, начинал петушиться, говорить присутствующим дамам галантности и, промахиваясь, прикладываясь к ручке. Галина Тимофеевна засуетилась. Поправила скатерть, торопливо пригладила полувывлезшие от химиотерапии пегие жалкие волосы, пододвинула тарелку и потащилась, придерживаясь за стенку, на кухню за свежим хлебом и горчицей. Но не успела – муж поймал потемневшую косточку, которая теперь служила Галине Тимофеевне запястьем, и вдруг зашипел, мелко тряся пятнистым от ненависти лицом – когда же ты, наконец, подохнешь... Когда! Наконец! Подохнешь!

И тогда Галина Тимофеевна, задыхаясь, схватила с тарелки котлету и, давясь, принялась обеими руками заталкивать ее в рот.

Потом ее долго, мучительно и обстоятельно рвало. Перепуганный, мигом протрезвевший муж всё совал к ее затылку переплескивающую через край чашку с водой, блаженно холодил лоб фаянсовый ободок унитаза, и Галина Тимофеевна, краем сознания ощущая, как в голос – на “ыыы!” – рыдает в комнате ничего не понимающая Лиза, всё расстраивалась, что кафель в углу туалета совсем зарос липковатой желтой грязью, а сил дотянуться нету, и, значит, женщина, которую скоро приведет сюда муж, будет считать ее плохой хозяйкой.

Но больше, чем от голода и животной, изнурительной боли, Галина Тимофеевна страдала от того, что не сможет разделить с детьми их будущее горе. Герман и Лиза оставались совсем одни. И хотя Галина Тимофеевна знала, что пройдут недели и месяцы долгой, кропотливой работы памяти, прежде чем они осознают, что случилось, у нее мелко-мелко и тяжело дрожало всё внутри при мысли о том, как будет больно Лизе найти в шкафу ее старенький халат или давно забытое платье, как она будет плакать и не понимать, почему от вещей по-прежнему пахнет мамой, а мамы больше нет, и как долгие годы – целую жизнь – Лиза будет одна перебиваться в неродном, никому не нужном мире.

Поэтому Галина Тимофеевна, собрав жалкие остатки сил, принялась методично уничтожать о себе всякую память. Одежду поплоче и постарее, мелкие пустяковые сувениры, студенческие конспекты и помутневшие от времени фотографии она, поминутно останавливаясь, чтобы перевести дух и проглотить огромное мучительное сердце, отнесла на помойку. Кофточки и платья получше, купленные перед болезнью и едва надеваемые, Галина Тимофеевна решила подарить знакомым. Она торопилась задобрить всех, кто знал и любил ее, чтобы хоть несколько капель всеобщей жалости перепало потом ее детям.

Галина Тимофеевна понимала, что выглядит плохо. Не просто плохо – а так, как не должен, не может, не смеет выглядеть живой человек. И старательно пыталась хоть немного приукрасить себя – чтобы не отпугнуть, не ужаснуть людей, которые, как она надеялась, не забудут после ее ухода Германа и Лизу. Поэтому она с кропотливым, неведомым прежде старанием подкрашивала бледные плоские полосочки, которые раньше были ее губами, старалась уложить невесомые пряди, чтобы не так жутко сквозила сквозь них желтая, пятнистая кожа головы, и даже душилась из маленького флакончика, который подарил ей на последний день рождения муж. Тогда он еще поцеловал Галину Тимофеевну в губы и при гостях попросил родить ему – для количества – маленького Вовку.

Все так много смеялись и ели в тот вечер, что у Галины Тимофеевны впервые сильно разболелся живот, но всё равно было очень весело, и гости шумно зааплодировали, когда розовая от гордости хозяйка вынесла из кухни огромный, как тележное колесо, торт “Наполеон” в тридцать четыре коржа, а приятельницы всё выпрашивали, как это Галочке – при эдаких кулинарных способностях – удалось так замечательно похудеть.

Галина Тимофеевна понимала, что ее уловки бессмысленны и унизительны, но упорно останавливала брезгливо шарахающихся соседок, звонила коллегам и бывшим сокурсникам, и всё это – жалко дрожа, обмирая, задыхаясь от тайного, но всем понятного речитатива: Герман и Лиза, Герман и Лиза, Лиза, Лиза, Лиза...

Ее попытки сплести детям удобную и покойную сеть покровителей и друзей напоминали вязание – быстрое стрекотание суетливо сияющих спиц, мгновенный бросок воздушной петли и рождение сложного сквозного узора. Одна из петель этого узора захватила даже дочку Тамары Алексеевны, и, как это ни странно, Галина Тимофеевна возлагала на эту чужую, необыкновенно живую барышню, изучавшую в университете французский язык, свои самые отчаянные и большие надежды.

Дело было в отношении к жизни, неудержимо убегавшей сквозь постоянно воспаляющийся брюшинный шов, и в том, что дочка Тамары Алексеевны была красавицей.

Галина Тимофеевна подружилась с Тамарой Алексеевной еще после первой, так много обещавшей операции. Операция лишила Галину Тимофеевну двух третей желудка и взамен подарила последнюю подругу, потому что Тамара Алексеевна – вопреки священной клятве Гиппократы – привязалась к своей тихой полупрозрачной пациентке так, как не следует привязываться ни к кому, если ты, конечно, работаешь в онкоинституте. Подгоняемые напиранием на Галину Тимофеевну временем, они в считанные недели дошли в своей взаимной жалостной нежности до таких запредельных торжественных высот, что обе не знали, что делать дальше. Пытаясь хоть что-нибудь исправить, Тамара Алексеевна даже всякими полууголовными способами добывала для Галины Тимофеевны морфин, за каждую ампулу которого сначала расписывалась в бесконечных ведомостях, а потом тайком совала в молодые накрахмаленные халатики вчетверо сложенные купюры и долго держала под пересохшим языком шершавую ледяную таблетку валидола.

Иногда морфин помогал, получившая недолгую передышку Галина Тимофеевна, слабо улыбаясь, присаживалась на своей плоской клеенчатой кушетке, и они с Тамарой Алексеевной принимались взахлеб, всхлипывая и перебивая друг друга, разговаривать о своих детях. Однажды, на самом пике их рыдающего диалога, дверь кабинета распахнулась, и – ожившей подвижной иллюстрацией – ворвалась дочка Тамары Алексеевны, и, как и полагается настоящей иллюстрации, в жизни оказалась гораздо ярче и одновременно проще самых страстных материнских рассказов.

Вся сливочно-золотая, стремительная, она без тени животной и вполне ожидаемой брезгливости расцеловалась с Галиной Тимофеевной, поблагодарив ее за подаренную блузку. Блузка, опалово-бледная, с воланами, – лучшее, что нашлось в умирающем шкафу Галины Тимофеевны, – присутствовала тут же, туго натянутая молодой грудью и прямыми сильными плечами. Покончив с официальной частью знакомства и мимоходом потерявшись щекой о материнские волосы, дочка Тамары Алексеевны преспокойно бросила узкое модное тело на свободную кушетку и принялась уверенно и оживленно рассказывать о картавых и никому не известных версификаторах, которыми имела честь заниматься в своем институте.

Она болтала, то кусая за упругий бочок извлеченный из студенческого рюкзака бублик, то отбрасывая с лица тяжелые прямые волосы с каким-то фантастическим, гладким, ртутным переливом внутри, и время от времени – со dna журчащего необязательного разговора – улыбалась матери и Галине Тимофеевне влажными голубоватыми зубами. Дочка Тамары Алексеевны не стеснялась, не играла, не кокетничала своей причудливой инопланетной красотой, она просто жила – с великолепной естественностью здоровой кошки, которая и не подозревает, каким сложным зеркальным блеском отливает на солнце ее праздничная шубка. Впервые за время своего затянувшегося рака Галина Тимофеевна видела существо, которое вело себя рядом с ней так, будто всё было нормально.

От благодарности и сдобного запаха теста (дочка Тамары Алексеевны машинально предложила кусочек и Галине Тимофеевне, но тут же легко исправила оплошность одним теплым извинительным прикосновением ладони) Галина Тимофеевна испытала что-то вроде блаженного обморока. Она вдруг сразу и окончательно поверила в то, что нашла для своих детей идеальную гавань.

Вопреки всем законам природы дочка Тамары Алексеевны охотно согласилась давать Лизе и Герману уроки французского языка, и теперь два вечера в неделю Галина Тимофеевна, затаившись от опасливого счастья, слушала, как переливаются в детской роскошные, грассирующие фразы, и на дне каждой прыгает отчетливо дрожащий зеркальный смешок – не то французский, не то собственный, заводной и веселый, смешок молоденькой гувернантки.

Дети влюбились в приходящую красавицу с прозрачными и пушистыми, как крыжовник, глазами, со всем зоологическим бессердечием, на которое были способны. Герман, пятнисто рдея щеками и лбом, с неожиданно прорезавшимся мрачным мужским пылом зубрил неправильные глаголы, а Лиза часами вертелась перед большим овальным зеркалом в прихожей, пытаясь заставить слабые прозрачные кудряшки лечь вожденной ртутной волной.

Мать, почти с головой погруженная в темноту одинокой голодной боли, была забыта протодушно и навсегда. Галина Тимофеевна была счастлива.

Впервые в жизни проявив характер, она слабым свистящим шепотом запретила дочке Тамары Алексеевны, Герману и Лизе появляться в ее последней (три крайних окна второго облупленного этажа) онкологической палате. Галина Тимофеевна не хотела прощаться. И до последнего дня, уже едва способная шевелиться, при помощи набухшей от слез Тамары Алексеевны в назначенный час добиралась до окна и, вцепившись костенеющими пальцами в раму, покрытую грубой коростой осыпавшейся краски, смотрела мокрыми невидящими глазами, как ее дети гуляют по роскошному осеннему парку онкологического института. Три крепко взявшиеся за руки фигурки в расплывающихся от слез ярких плащах. Ее дети.

Момент перехода Галина Тимофеевна едва ощутила – просто мгновенный и обморочный укол, словно во сне, когда всем оборвавшимся сердцем оступаешься на чудовищной высоте и тут же мягко и упруго планируешь на невидимых крыльях на самое дно разреженного сном воздуха. И никакого света в конце тоннеля, головокружительного полета и одушевленного шепота усопших – ничего, кроме бесконечного одинокого ожидания в пустом зальчике убогой привокзальной почты. Первое время звонков было много, и Галина Тимофеевна едва поспевала переходить из одной облупленной кабинки в другую, прислушиваясь к далеким, прерывающимся голосам, но телефонные мембраны становились всё непроницаемее, а кабинки – всё прозрачнее, и она подолгу застывала на неудобном казенном стуле с холодной пластмассовой спинкой, беспокоясь и схватываясь при каждом коротком переливчатом треньканье. Но связь барахлила, и Галина Тимофеевна со слабой виноватой улыбкой опять опускалась на свой стул и всё комкала в иссохшей лапке маленький влажный платочек с красным, похожим на паука цветком, который Лиза вышила на уроке труда в четвертом классе.

Потом звонки прекратились вовсе, и Галина Тимофеевна впервые почувствовала тихое, но безостановочное движение внутри и вокруг себя, словно она лежала на дне настойчивого ручья и погружалась всё глубже и глубже, протягивая немые полуразмытые руки к зеленоватой клубящейся поверхности и растворяясь в теплой щекотной мути. Дольше всего держалось в памяти дрожащее изображение Лизы, но и она, вопреки логике всё еще существующего где-то времени, не возрела, а становилась меньше, бесцветнее, пока наконец не притаилась щекотной рыбкой внутри опустевшего материнского живота. И Галина Тимофеевна поняла, что больше не помнит своего имени. Тогда, сделав судорожное, отчаянное усилие, она встала и, тяжело раздвигая кисельный, загнивающий воздух, побрела к немой струящейся телефонной будке.

Дочь Тамары Алексеевны проснулась, вздрогнув всем потяжелевшим, подурневшим от поздней беременности телом, и бессмысленными со сна глазами уставилась в медленно розовеющий прямоугольник окна. Томительно вздыхал подобранный к самому дому сосновый прибой, и в такт ему ритмично колыхалось загорелое плечо умаявшегося за долгий дачный день мужа. Едва ощутимо, на пределе слуха, зудел в полумраке проголодавшийся комар.

Как же ее звали? Полина... нет, Альбина Матвеевна. Все-таки Полина, а не Альбина. Полина Матвеевна. Татина Татеевна. Или Татитеевна? Полина Татитеевна, Патрикеевна, Алевтеевна, перебирала женщина, нанизывая на невидимую нитку непослушные, забытые бусины. Комар уловил волну мощного живого тепла и восторженно смолк, пристроившись у подножия рыжего волоска – поближе к зияющему темному кратеру поры. Патрикеевна, Алексеевна, Ти... Мужчина, не просыпаясь, дал себе оглушительно-влажную пощечину и скрутил комара в крошечный липкий комочек. Женщина вздрогнула еще раз, машинально прикрыв ладонями тяжелый живот. Спи, пробормотал мужчина, тяжело переворачиваясь и прижимая к груди ртутную, слегка светящуюся в предрассветной спальне голову жены. Еще рано. Рано, согласилась женщина, неотвратно погружаясь в медленные зеленоватые слои сна и чувствуя, как вращается, опускаясь, потолок, обшитый душистой вагонкой, как ходит, осторожно сужая круги, огненная лисица с огромным, тающим в темноте хвостом, и всё гуще, всё тяжелее пахнет чем-то сладковатым, знакомым, родным...

В животе ее, засыпая, тяжело толкнулся неясный ребенок, связь со слабым шелчком разъединилась.

И Галина Тимофеевна умерла.

Варенье из каки

Они влюбились с первого взгляда.

С первого вдоха даже – четко следуя модной теории о биохимии чувств. Сигнальные молекулы, нейромедиаторы, гормоны, торопливый, неистовый кровоток. Я люблю тебя. Я тебя обожаю. Прижать к себе, стиснуть до хруста, сделать частью себя. Переварить – жадно, медленно, без остатка. Ни с кем никогда не делиться. Неотвратимая физиология любви.

Вечерами выходили в сад с бутылкой вина, нашаривали в ночной траве абрикосы, еще теплые, напитанные долгим солнцем, и садились, прижавшись спинами к огромной сморщенной ноге эвкалипта. Подумать только, здесь растут эвкалипты! Подумать только, а если мы влюбились не разом, не вдвоем, не навсегда? Они качали невидимыми головами, ужасаясь. Тогда конец супружеству, маленькому чудесному приключению, которое они так берегли, конец “мы и они”: одному бы пришлось уехать, другому остаться, одному жить, другому... Горлышко бутылки звякает о зубы. Осторожно! Это же не совиньон? Нет, верментино.

Вкусно, правда? Золотое, плотное, грустное вино. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Оба замолкали, понимая, что вся их маленькая человеческая любовь – ерунда по сравнению с тем, что сделала с ними Тоскана.

Вот, имя произнесено, и сразу стало стыдно и больно. Потому что ее, бедную, выставленную напоказ, прелестную, деревенскую, растащили на открытки, на статьи, растерзали по блогам. Каждый считает, что вправе ее любить – не только они. С этим совсем, совсем ничего нельзя поделать. Толпы туристов, шарканье ног, ор отвратительных голосов. Чужие руки. Жадные, глупые, неумелые. Страшнее и нестерпимее всего – конечно, соотечественники. Просто потому, что, к сожалению, понимаешь каждое их слово. Наташка, вино взяла? Да ну, кислятину эту, я в ней не разбираюсь! По деревенской продуктовой лавке (по их деревенской продуктовой лавке!) мчит, громыхая копытами, семейство. Пекорино брунелло, овальная даже на вкус моцарелла, кабаньи колбаски, порчини – мимо, читатель, мимо. В тележке подпрыгивают седые от ужаса свиные отбивные, картошка, ждущая часа, чтобы стать *free*. Красные шеи, могучая поступь, зычный рев. Самка пронесется мимо рядов зеленоватого *frizzante* и хватает литровую бутылку польской водки. Самец отвечает детенышам по гулкой затрещине – запускает педагогический процесс.

Зачем вы приехали сюда, гунны? Зачем топчете наш простодушный рай?

Герои мои переглядываются и, не сговариваясь, переходят на итальянский, пока ломаный, неловкий, но такой лакомый. Чур, прочь, отрекаюсь, отрекаюсь, отрекаюсь, даже от родного языка своего, от этого надоедливого сатаны. Будьте прокляты, соотечественники, изыдите! Провалитесь в свой уродливый ад, составьте компанию чете англичан, что сидели тогда – помнишь? помнишь, любимая? – по соседству с нами, в ресторанчике с видом на пинии и закат. Что они заказали? Две банки диетической колы, кружку пива и по гамбургеру на каждое свиное рыло. Видите, мы несправедливы ко всем, потому что сама любовь несправедлива! Беременная официантка, юная, глазастая, принесла нам целую миску мидий и бутылку *Lacryma Chnsti* и сказала, как равным: *Ottima scelta*. Отличный выбор! В выпуклом ее животе лежал, улыбаясь, маленький бамбино, мальчик, конечно, мальчик, счастливый только потому, что родится сразу в раю. Мы пили прозрачные горькие слезы Христа, собранные у подножия Везувия, и у них был подлинный вкус, вкус настоящей родины – той, которую выбираешь сам, а не той, в которой угораздило родиться.

В первый их приезд – случайный, как незаконное зачатие, – Тоскана была отчаянно недоступная. И немая. Совсем немая. Никто в деревне не говорил по-английски. Они бродили, разинув рты, схватив друг друга за руки, и каждую секунду боялись проснуться. Вокруг улыбались, шумели, компаниями усаживались подкрепиться – с младенцами над и толстыми лабра-

дорами под столом. Жестикулировали живо, будто дирижировали окружающей жизнью, но всё – мимо них, не для них, сами для себя. Даже местные коты не устаивали их поглажкой, даже коты. Угрюмо смотрели через плечо и утекали в ближайшую солнечную подворотню. Сердитая старая итальянка выходила с лейкой на крыльцо дома, который помнил еще Микеланджело, в котором четырнадцать раз воевали, трижды умирали от чумы, но все-таки остались живы. Еще у ее деда была тут лавка. Ее прабабушка родилась вот за тем окном. В кантине тихо пылилось вино, которое откупорит на свадьбу внук ее старшего, самого любимого внука. Из пластмассовой лейки лилась витая золотая вода, поила цветы, не имевшие названия: горшки с ними выставляли напоказ, наружу, на улицу – уже для других. Не только для себя.

Мир сузился до острия, до точки, стал настоящим. Прежде завязтые путешественники, они нашли место, в котором невозможно было не остаться навсегда.

Но пришлось уехать.

Они вернулись через три месяца, потом еще и еще – на выходные, на денек, ну пожалуй-ста, хоть на минуточку. Самоучители, уроки, развешенные по всей квартире желтые липкие стикеры. На каждом – итальянское слово – как винная ягода, спрятавшаяся под шероховатым листом. *Io sono. Io sono innamorato. Tu sei. Tu sei tutto per me.*

На Рождество Тоскана заговорила. Сначала их признали коты, особенно тот, черный, разбойный, что жил у аптеки в городке, прелестном, крошечном, – его имя они не выдавали даже самым близким друзьям. Это был их городок. Больше ничей. Только их. Три улочки, четыре рестораника, бар, кафе, пять энотек, две ювелирные лавки. Кладбище. Всего на десять лет моложе Москвы. Однажды они столкнулись у входа в бар с известным российским режиссером, дерганым, похожим на крошечную дрянную копию дон Кихота: усы, борода, свита из двух теток, брезгливое выражение лица. Она разрыдалась, как маленькая: пропал, пропал калабуховский дом; он стиснул кулаки, хотел бежать, бить режиссеру морду, но морда уже скрылась, разочарованная, так и не понявшая ничего. Возвращайся в свое *Forte dei Marmi*, урод! Они выпили в баре по наперстку ристретто – стоя, как настоящие итальянцы. Было солнечно, всюду продавали крупный пористый миндаль и невероятные, праздничные, с не увядшими еще листьями мандарины.

Ну да, конечно же, – кот! Он заговорил с ними первый – утробно, низко завыл, заклокотал изнутри так, что они застыли: наверняка изорвет, вцепится, не признает, – но кот, трясая черными косматыми боками, подбежал и с размаху ткнулся башкой сперва в голенище ее замшевого сапожка, а потом – в его джинсы. Они в четыре руки кинулись его обнимать; из аптеки вышел, позевывая, молодой провизор, похожий на персонажа Феллини. Они давно поняли, что он был обычным документалистом, этот Феллини, веселый толстый пройдоха с лицом типичного тосканского крестьянина. Провизор спросил их о чем-то, они, не отпуская кота, ответили и уже не замолкали – до вечера, до счастливой одышки, до хрипоты. У провизора оказалось имя – Мауро, он был сыном толстушки Паолы из бара и собирался перебираться – со всей аптекой – в соседский город, на триста метров выше от уровня моря, от мамы, мамы мии. А знаете что? Приходите вечером в бар. Будет футбол.

И был футбол.

Прежде они никогда в жизни не смотрели футбол.

Всё, всё оказалось не так, как они себе воображали. В миллион раз лучше. С ними заговаривали старушки, требовавшие немедленно купить соседский дом, потому что он пустой, а мне нужны хорошие соседи. Вы же будете хорошие соседи? Будете косить траву? Семена от нее летят на мои клумбы. Племяннице старушки принадлежали обе ювелирные лавки, а муж племянницы сбежал на кладбище – негодяй, бросил девочку с тремя детьми, впрочем, что с него возьмешь? Француз, иностранец, на него с самого начала не было никакой надежды. Коренастый пузан, дружелюбный увалень с глуповато-хитрой физиономией, которого они принимали

за нанятого из милости родственника, оказался хозяином их любимого ресторанчика. Массимилиано! О! Друзья!

Он выходил навстречу, раскинув щедрые руки, помнил столик, который нравился им больше всего, вино, от которого она жмурилась и ахала, сам подавал тарелки. Черные трюфеля, оливковое масло, белая паста, солнечный свет.

Туристов на Рождество почти не было, местные сидели по домам либо разъехались по другим краям, которые отчего-то считали краше собственного. Рай для тех, кто живет в раю. Как отсюда можно было уехать добровольно? По утрам прямо к их окнам прилетал фазан. Важно сидел на ограде, соображая, что бы стянуть, они пытались соблазнить его пресным тосканским хлебом, но фазан, взмахнув целой радугой, медленно улетал, неискушенный. Единственное, что здесь было не идеально, – это хлеб. Но они были готовы обойтись без хлеба.

В канун Рождества чуть похолодало – плюс десять градусов, легкий прохладный намек на приближающийся праздник. Они пошли выбрасывать мусор в одних свитерах – и по дороге встретили почтенную синьору в норковой шубе и на велосипеде. На руле – плетеная корзина. В *Conad* за покупками. Синьора неодобрительно посмотрела на тяжелый мусорный пакет у него в руках. Это была женская работа. Эту работу должна была делать женщина. Они засмеялись, помахали ей, но сеньора возмущенно застрекотала дальше, сверкая то спицами, то рыжим драгоценным мехом. Наверняка будет сплетничать с кассиршей, той черной, синегубой, увешанной бранзулетками, что ненормально оживлялась при виде каждого малыша. Зеленый пластиковый контейнер (называется *bidone*), в который сносил мусор весь городок, был с головокружительным видом на море, которое зимой просто рисовали на картоне, одной синей густой линией, всё темнеющей и темнеющей к горизонту, пока не наступали сумерки.

Обедать решили у Массимилиано, набрав в честь праздника и того, и сего, и самого лучшего вина, которое только мог выдержать их скромный кошелек. Мимо ресторана прошел старик, высокий, красивый, с дворняжкой в поводу; еще не знакомые, но уже родные, они заулыбались приветливо, совершенно счастливые, как дураки. Как дураки. Старик остановился. Дворняжка тоже. *Saluta la signora*, попросил старик, и дворняжка отвесила ему неуклюжий и стыдливый поклон. *Non me. La signora!* И дворняжка тотчас исправила оплошность. Он защелкал фотоаппаратом, она засмеялась и сразу заплакала – она всё время тут плакала, быстро, легко, – и Массимилиано, вышедший из кухни с десертом в руках, терпеливо переждал этот крошечный сверкающий дождь. Это ничего, хорошие слезы, просто тут совсем близко к Богу, – объяснил он и поставил перед ними две дрожашие от нежности паннакотты, на каждой – ложка варенья. Она попробовала: что-то очень знакомое, но нет, не разобрала, попробовала снова – и снова не угадала.

– Яблоки? – спросила она, стараясь не делать ошибок и выдержать правильную интонацию. – Это ведь яблоки, Массимилиано, да?

– Нет, – ответил Массимилиано. – Это не яблоки. Каки.

Карманный разговорник (на всякий случай всегда с собой) предложил им на выбор айву, груши и, застеснявшись, умолк. Нет, не айва, синьора, говорю же – это каки. Варенье из каки. Тут их много. Погуляйте вокруг. Вы увидите.

Они не стали гулять, понеслись домой, толкаясь, как дети, помирая со смеху и строя немислимые предположения. Кабачки? Дыни? Ну какие сейчас кабачки и дыни! Ты что! Погоди, сейчас всё узнаем! Интернет, сонный, деревенский, еле ворочался, *Google*-переводчик открывался целый час.

Каки оказались хурмой. Он вышел на улицу и нарвал ее прямо с дерева – вяжущую, круглую, похожую на чуть помятое в пальцах солнце.

* * *

Массимилиано забрал чаевые – слишком щедрые, чтобы обрадоваться: чужое расточительство всегда обидно – ты вкалываешь с утра до вечера, гнешь спину, дрожишь мордой над раскаленными кастрюлями ради каждого чентезимо, а они... Массимилиано махнул рукой, закурил. Старик с дворняжкой вернулся, взял стаканчик граппы, понюхал, покачал головой. Я бы убил жену за такую граппу. Я бы тоже, откликнулся Массимилиано. Но это покупная. Дрянь для туристов. Давай, пей и проваливай, мне пора домой. Рождество.

Старик еще раз покачал головой.

Надоели эти русские, – сказал вдруг Массимилиано. Сил нет. Приезжают и думают, раз у них деньги, они здесь свои. Гнать бы их всех. Изгадили всё побережье.

Кризис, – невпопад ответил старик.

И первая рождественская звезда медленно выплыла на невероятное итальянское небо.

Дядя-цирк

Вы боитесь? Я – почти всё время.

Гражданской войны, инфляции, революции, пьяных.

Трезвых тоже боюсь. Вообще людей. Если в метро или на улице кто-то обращается ко мне с вопросом (как правило, дурацким), я инстинктивно делаю шаг назад и только потом объясняю, как пройти в библиотеку. В три часа ночи. А что такого? Старое доброе советское кино. Вообще, я советское кино не очень люблю. Все такие честные, правильные – аж тошнит. Родину свою на полном серьезе любят. Родина! Сдуреть.

Я родился в восемьдесят седьмом. Моя родина – “Том и Джерри”.

Вот что я люблю, так это дурацкие американские комедии восьмидесятых годов. “Мальчишник” с Томом Хэнксом. “Близнецы” со Шварценеггером. Еще “Джуниор”, конечно. Над “Джуниором” я просто плакал, честное слово. Сидел и ревел. Хотя “Джуниор” – это 1994 год. Мне уже почти семь. Съедобные корки на содранных коленках. Билл Гейтс женился. Чикагило расстреляли. Джон Нэш получил нобелевку.

Вот еще классный фильм – “Игры разума”.

Кино я смотрю на ноутбуке, телевизора у меня нет. Давно. Очень давно. То есть Путина от Медведева я еще худо-бедно отличу, а вот Хлопонина от Потанина – уже нет. Мне неинтересно. И те, кому это интересно, неинтересны мне еще больше. Я всего-навсего соглядаю. У меня есть аккаунты во всех соцсетях, но нет ни одной записи. Даже ни одного перепоста. Устав от кино, я ползаю по чужим страницам, не оставляя ни комментариев, ни следов. Просто смотрю. Котики, котики, демотиваторы, все на защиту Навального, мимими! Навальный – ставленник Кремля! Кремль – проект Госдепа! В свои три года Митя уже пережил клиническую смерть во время операции и предательство родной матери. Теперь у него острый лейкоз. Плутич – вор! Смерть либерастам и дерьмократам!

Скроллим, читатель, скроллим.

Ноутбук с диагональю в двадцать один дюйм. Два по самое горлышко залитых терабайтника. Торренты. Если заказать пиццу на дом, можно вообще никуда не выходить. Никогда. И долбиться оно всё конем. Но – надо. Ежедневно, с понедельника по пятницу, с десяти до восемнадцати ноль-ноль я – юрконсул. Звучит грозно, но на самом деле я не юрконсул, а лох. Оказываю юридическую поддержку молодым предпринимателям России. Согласно договоренности, достигнутой нами в “Шоколаднице”, высылаю подробный бизнес-план нашего стартапа. В очереди у меня томятся либо восторженные долбозвоны, алкающие лавров Стива Джобса, либо откровенные психи. Изобрели вечный двигатель, теперь пытаются наладить промышленное производство. Всем позарез надо бабла, славы и айнанэ. На мониторе у меня открыты разом “Консультант-плюс”, “Гарант”, “Одноклассники” и *Facebook*. Согласно пятому параграфу четвертого приложения к подзаконному акту от 23 марта, – бубню я неразборчиво, торопясь отделаться, и молодые долбозвоны почтительно затихают. Верят, что я помогу им предпринимать. Что хоть кто-то поможет. Стив Джобс умер, олухи. Девяностые прошли. Так что валите отсюда, пока целы. Да всё равно куда. Лондон не резиновый, но если поднапряте – может, и втиснетесь. В этой стране вам делать нечего. Даже Песков ее так называет. Эта страна. Пескова я как раз опознаю. Пресс-секретарь Путина. Похож на моего физрука. Хороший был дядька. Научил меня прыгать через козла. Теперь я и сам козел. Вырос.

Юрист я не то чтобы плохой. Просто трус. Вот моя сокурсница Бекетова – смелая. Черный рейдер. Когда-то я мечтал с ней переспать, теперь не мечтаю. На очередную встречу выпускников она приехала на новенькой “бэхе”. Шестерка, гранд-купе. Сотню делает за четыре с половиной секунды. Нереальная тачка. Тоже черная. Выжрав третий пластиковый стаканчик водки, я осмелел настолько, что протолкнулся поближе, потрогал теплый, еще матовый капот. Бекетова

смеялась, запрокидывая голову так, чтобы была видна длинная белая шея, предусмотрительно перетянутая черным шнурком. На шнурке болтается скромный бриллиантовый крестик. Очень удобно. Рубить – здесь. Бекетова, – говорю, – а ты хоть понимаешь, что преступница? Это всё равно что врач, вместо того чтобы лечить, специально заражал бы больных сифилисом. Или бы ноги им здоровые отрезал.

Знаете, что она ответила? Ничего. Даже не повернулась.

Я выпил четвертый стаканчик и поехал домой на метро.

Улица Курганская. Съёмная однушка. Двадцать пять тыщ в месяц. Первый этаж.

Знаете, чего я еще боюсь?

Полиции, гопников, СПИДа. Того, что мама умрет. Еще – ГМО.

Настеньке пять лет. У нее рак мозга.

Обычно я такое пролистываю сразу. Жулики в десяти случаях из десяти. Виртуальные побирки. Возле гастронома, в котором я отовариваюсь ежевечерними пельменями и ежеутренним йогуртом, подбираются по-настоящему, живьем. Сразу три подвида. Какбэ нищая бабка, согнутая в немыслимую дугу. Уткнулась лбом в асфальт, под коленками – заботливо положенная картонка, чтобы, значит, не так жестко было страдать. Я бы и трех минут в такой позе не протянул, а она ничего, часами стоит, не шелохнувшись. Проверял. Живые статуи отдыхают. Толстая тетка с целой коробкой копошащихся котят. Этих, когда передохнут, просто выкинут на помойку и наберут новых. Еще пара печальных кобыл. В прямом смысле этого слова кобылы. Лошади. На них – прыщавые девицы в роли прекрасных наездниц. Тоже кобылы, между прочим. Каждая вдвое толще и выше меня. Жулят лошадам на еду.

И вот – девочка Настенька. Пять лет. Рак мозга. Идеальная отмычка для простодушных сердец. Теперь засрут этой Настенькой всю френд-ленту.

Со скуки (и чтобы не читать следующий пост, в котором какой-то брехливый оппозиционер живописует, как его жутко прессовали в автозаке) я смотрю, кто притащил это ракообразное на мою страницу. Надо же, не перепост. Просто лайкнул кто-то из моих никчемных виртуальных друзей. Ни одного из них я не знаю в реальности. И знать не хочу. Просто набор слов и фоток. “Инстаграм”, да. Надо еще зарегистрироваться на “Инстаграме”. Смотреть хотя бы не так скучно, как читать.

За Настеньку хлопочет сотрудница хосписа. Жуткое какое слово – будто дважды щелкнули изогнутыми острыми щипцами. Хос-пис. Я физически ощущаю, как ноет там, где щипцы отхватили живой кожный лоскут. Рак. Дедушка умер от рака. Опухоль. Сморд. Перед смертью видел струящихся в комнате красных драконов. Но у девочки Настеньки (пять лет) сейчас ремиссия, ей намного лучше. Неизвестная мне сотрудница хосписа радуется так, словно ей самой полегчало. Дали перевести дух, пожалели. Красные драконы немедленно улетают. Оказывается, у Настеньки есть мечта: она никогда в жизни не была в цирке. Если бы кто-нибудь из вас, друзья, мог купить ей и ее маме билеты...

Дверь открывается, заглядывает очередной молодой предприниматель. Насушенные гелем волосики, дешевая рубашка из полиэстера. Постирать, просушить на плечиках, не гладить. Период полураспада – миллион лет. Абсолютное зло. У меня самого точно такая же.

Вон! У меня обед! – рывкаю я неожиданно грозно, и предприниматель покорно смывается. Подчиняется власти. Даже такой жалкой, в моем лице. Я мысленно пересчитываю все уложения, приложения и статьи, которые только что нарушил. Я всегда так делаю. Подпитываю свою трусость. Соображаю, что будет, если на меня подадут в суд. Выстраиваю мысленную линию защиты. Глупости совершенные, никто и никогда не подаст на меня в суд. И я сам не подам. Упаси меня господи и помилуй. На юрфаке нам препод рассказывал – с двадцатилетним стажем, между прочим, судья, – что ни разу за свою жизнь не подписал оправдательного приговора. Честно, говорит, я даже не знаю, как это делается. Бумажки такой, по-моему, даже нету. Ну, шаблона. Во всяком случае, он не видел. Ну а я-то тем более. Суд должен быть так

страшен, чтобы ни один из граждан не смел даже подумать, чтобы обратиться туда. Не помню, кто сказал. Кто-то из древних. Пять тыщ лет. Восточная деспотия, а чё!

Итак, Настенька, пять лет, рак, цирк, мама. Я просматриваю аккаунт этой, которая из хосписа. Читать невозможно, честное слово, хотя пишет она, в отличие от многих, здорово. Временами даже весело. Приплясывающий оптимизм висельника. Всего двадцать пять лет, а уже в самом эпицентре смерти. Билетерша на барже Харона. Если бы у меня была такая работа, я бы уже где-нибудь висел. Как эта женщина до сих пор жива? “Джуниор”, снова “Джуниор”. Вернусь домой и обязательно пересмотрю. Аккаунт открытый: фамилия, имя, телефон, фотографии, электронный адрес – всё, похоже, настоящее. Очень недалёковидно. Сына Касперского на таком раздолбайстве и взяли. Еще бы ключи под ковриком держал. От квартиры, где деньги лежат. А лицо у нее хорошее. Спокойное. Я лезу на страничку хосписа – проверить, есть ли такая сотрудница в штате. Есть. То же лицо, тот же мейл. Улыбается.

Сам не понимаю, почему так волнуюсь. Как дурак. Как будто тоже живой.

Девочка Настенька, рак, пять лет, мечта. Цирк.

В дверь снова лезут, я снова посылаю – на этот раз даже не поднимая головы. Пишу этой, из хосписа, письмо. Благотворительность – это модно. Католичество – это круто. “Догма”. Тоже отличное кино. Аффлек и Деймон вообще молодцы. Написать “Умницу Уилла Хантинга”! Я бы вообще больше ничего не делал после этого. Просто лежал бы и плевал от гордости в потолок. Я ничего и не делаю, впрочем. Даже в потолок не плюю.

Квартира съемная. Могут погнать. Хотя мне всё пофиг. У меня, как у латыша, – только хрен да чистая душа. Ноутбук, пара терабайтников и пяток рубашек. Ничего личного.

Отвечает она почти мгновенно – здравствуйте, спасибо, было бы очень здорово, вот телефон мамы Настеньки. До свидания. Спасибо еще раз. Четко. Профессионально. Тепло. Я сажу оторопелый. То есть звонить все-таки придется самому. Мир разом скукоживается, становится холодным, липким, как снулая рыба. К общению с Настенькиной мамой я не готов. Я вообще не готов к общению. С меня довольно юных бизнесменов с их стартапами. Я думал, перекину за пять секунд деньги на счет хосписа (проверил заранее, прогуглил даже – отрицательных отзывов ноль, сплошное сопливое мимими, не мошенники, однако, даже странно)... Ладно, сам виноват, кретин. Не было печали не надо и начинать.

Позвонить решаюсь только поздно вечером. После “Джуниора” и пива. Готовлюсь тщательно – с одним антиопределителем номера на городском телефоне возжусь минут тридцать. Еще не хватало, чтобы она принялась мне потом названивать, эта мама Настеньки. Принесите кота. Унесите кота. Спасите-помогите. У меня молоко убежало. Врешь, не возьмешь! Заодно проверяю цирки – их, оказывается, четыре. Вот кто бы знал! Заказ билетов онлайн есть у всех, что приятно. Движение – смерть. А непредвиденное отклонение от привычного маршрута убивает целый день.

Кто знает, сколько их еще осталось? Разве что Настенька. На черта она мне вообще сдавалась?

От переизбытка трудов выпиваю еще пива и набираю в результате с мобильного. Автоматом. Как пишут на “Ньюсленде”, поздравляю, вы тектонический болван. Ничего не поделаешь. И ладно.

Настенькина мама отвечает сразу, как будто подкарауливала у телефона. Голос приятный. Вежливая. Не нервничает, не лебезит. Да, всё так. Настя хотела бы в цирк, но к нам не приезжают. Куда это – “к нам”? Называет дикие бебенья – где-то аж за Рузой. Семь лет на оленях. Не повезло. И еще раз не повезло – оказывается, не я один умею работать с информацией. Там, под Рузой, тоже не дураки сидят. Гуглить умеют. Настенька хочет в конкретный цирк, на конкретное представление. То есть, конечно, она ничего не хочет, мала еще. А вот мама ее начиталась отзывов, и поэтому... Я записываю на бумажке, мобильный неудобно впечатался в щеку, тихо, по капле переливается на жесткий диск очередной фильм. Качаем, брат. Качаем.

Хоть подрасстрельной статью сделайте. Нашу песню не задушишь, не убьешь. Уточняю еще раз день. Время. Успеете добраться? Они успеют.

У мамы Настеньки теплый голос, с каким-то забавным акцентом, который я не опознаю. Один раз она даже смеется, мягко, весело, у самой моей щеки. Очень уютно. А я бы смог смеяться, если бы у моей дочери был рак головного мозга? Не уверен. Я бы расхотел смеяться, если б у меня просто была дочь. Простудится, упадет, разобьется, умрет. Ну его нафиг. Может, все-таки мошенница? Перепродает потом билеты – и дело с концом? А зачем перепродавать? Кому? Где она найдет таких дураков за четыре сольдо?

Да, извините, самое главное: билетики вам как передать?

Мы оба замолкаем испуганно – я и Настенькина мама. Две телефонные трубки, не соединенные ничем, даже проводами. Я боюсь, что она назовет домашний адрес и мне придется ехать два с половиной часа в один конец, про назад и не говорю. Проще уж остаться там, под этой Рузой. Навек затеряться в степях. Она тоже боится назвать домашний адрес – а вдруг я маньяк, в конце концов? Приду с топором, порешу враз всю семью, унесу старенький телевизор. А может, новенький: сорок два дюйма, плоский экран. Крепится к стене. Телевизора-то у меня нету. Мотив? Мотив! Что она вообще знает обо мне, кроме голоса и номера, высветившегося на дисплее? Я даже не сотрудник хосписа. Квартира съемная. Выкину симку, сменю адрес – и ищите меня. Мы несколько секунд боимся хором – это Москва, родимая, додавливает в нас живое и человеческое. Добивает даже до Рузы. И за нее.

Настенькина мама справляется первая. Женщина. Сильный пол. Оставьте, пожалуйста, билет на кассе, в цирке. Мы приедем к началу спектакля и заберем.

Мы разом же переводим дух – пронесло. Она говорит спасибо – просто, но с таким достоинством, что я невольно завидую. Я бы так не смог. Не смог, и всё. Быть кому-то обязанным – это вообще хуже смерти. Если бы мне пришлось принимать благотворительные подачки, я бы удавился, честно. А она вот не давится.

Девочка Настя. Рак. Цирк. Мечта.

Придется все-таки самому тащиться к кассам.

На следующий день я вместо законного обеда прусь в цирк. До бульвара добираюсь к двум, совершенно не узнавая дневную Москву. Так вот ты какой, северный олень! Ничего. На бульваре даже красиво. Снуют вертлявые хипстеры, богатые бабы атакуют торговый центр. Чистая публика. Никакого рака. Москва и рак несовместимы. У нас даже инвалидов нет. Все здоровые, успешные и молодые. Плюс обслуживающее быдло. Лучший город на земле. На том стоим.

Тетка в окошке сварливо сообщает мне, что кассы закроются через десять минут. Десять минут. Ни души. Я рассматриваю схему зала – офигеть, какие цены! Знаете, сколько сейчас стоят билеты в цирк? Я тоже не знал. Мелкая московская сволочь во мне жалобно скулит, что с галерки тоже отлично видно, но я не поддаюсь. Два места в третьем ряду выдерут из моего бюджета шмат, никаким образом не совместимый с жизнью. То есть за квартиру я, конечно, заплачу, но остальное...

Я закроюсь скоро, молодой человек! – нервничает тетка. Голодная, наверно. Жрать надо меньше, вот что! Тогда и денег будет достаточно. Я на одной пище состояние просаживаю. Ничего, всё наладится. Я просто никогда не пробовал вести бюджет. Заодно и научусь.

Два билета в третий ряд на воскресенье, на час дня.

Шесть тысяч рублей.

Хорошо, только мне надо оставить билеты на кассе, люди приедут и заберут перед самым представлением.

Тетке пофигу метель – заберут или нет, она голодная. Берет мои кровные, сует в ответ два билета. Молча.

Я выхожу на бульвар, перезваниваю зачем-то Настенькиной маме. Докладываю голосом. Ой, спасибо, – говорит она. – Спасибо большое. А Настенька готовится уже. Платье выбирает. Велела у вас спросить – красное или синее? А какая разница? – спрашиваю я растерянно. Настенькина мама смеется. Вот и я ей так говорю. Но она хочет вам понравиться. Какой приятный все-таки смех! Теплый, живой. До свидания. И вам до свидания. Еще раз спасибо большое. Вы очень хороший человек.

Я смотрю на часы – до перерыва еще три минуты. Вламываюсь к тетке.

Погодите! Мне еще один билет! Рядом вот с этими, – тычу ей в окошко два билета. – Я только что брал! Мне еще один!

Тетка, уже сдвинувшая жопу в сторону обеда, негодует, желудочный сок переливается у нее через край. У меня обед! Приходите через два часа! Хрен тебе. Не на хипстера напала. Я сладострастно цитирую ей “Закон о защите прав потребителей”, грожу цирку и персонально вам, гражданочка, суровыми карами.

Хлоп. Тр-р-р. Бумс. Принтер выплевывает еще один билет.

Подавись!

И тебе того же!

Итого – девять тысяч.

Моему бюджету конец.

Перезваниваю Настенькиной маме еще раз. Говорю осторожно – вы меня извините, я сразу не сказал. Но я не два билета взял. А три. Это ничего? Она опять смеется, ласково, близко. На самом доньшке смеха дрожит что-то похожее на слезы. Что вы, – говорит. – Это очень хорошо. Просто замечательно. Спасибо еще раз. Вы очень, очень хороший человек!

Перезваниваю в третий раз. Что-то случилось? Нет. Передайте, пожалуйста, Настеньке, что платье лучше всего красное.

Я глупо лыблюсь, стоя посреди бульвара. Чувствую себя хорошим человеком. Это приятно. Как будто солнцем по макушке погладило. Никто ни разу в жизни не называл меня хорошим. Человеком – тоже. Меня хвалили-то в последний раз в школе. На физкультуре. Тот самый Песков. За того самого козла. Больше никто.

Я вдруг понимаю эту, из хосписа. И всех остальных. Вот почему они все бегают волонтерами, визжат, толкаются, вписываются то за педиков, то за пиндосов, то за котят. Им приятно. Просто приятно. Быть хорошим человеком – хорошо. Тепло. Я воображаю, как подойду к Настенькиной маме перед началом представления. Цветы. Лучше розы. Три. Нет, пять. А Настеньке игрушку. Или шоколадку. Интересно, можно ей шоколад? А потом гулять – по бульвару. Или в парк Горького можно – там, говорят, хорошо стало. Чисто. Я физически ощущаю, как Настенька берет меня за руку. Теплый маленький кулачок. За другую руку меня держит Настенькина мама. У нее светлые волосы, немножко грустное, милое лицо. Мэг Райан. “Неспящие в Сиэтле”. Мэг Райан нюхает розы и смеется – тихий, нежный смех переплескивает у самого моего сердца. Настенька бежит по бульвару, платье у нее красное.

Спасибо. Вы хороший человек. Очень хороший.

К воскресенью я влюблен без памяти. Как Том Хэнкс. Хуже. Как Форрест Гамп. Как идиот. Счастье и планы на будущее переполняют меня, прут изо всех щелей. Я даже даю двум долбозвонам по-настоящему дельные советы и к тому же не беру с них денег. Босс орет, и я смотрю в его красную пасть мокрыми от радости глазами. Квартиру надо сменить, эта тесна на троих, да и район – откровенно жопный. Настеньке нужен парк. Настенькиной маме – тоже. Увезти их из проклятой Рузы навсегда! Денег на нормальный район у меня нету, но это не беда. Пойду в подмастерья к Бекетовой. Буду за ней паяльник на орденской подушке носить. А что? Дело верное. Ради семьи. Всем можно, а мне нет?

Настенька в моем воображении совершенно здорова, это же ясно. Какой там рак? Кто поставил этот диагноз? Если он такой же врач, как я юрист, то у Настеньки – самый обычный

насморк. Или гланды. Но даже если рак, мы ее всё равно вылечим. Самолично побираться буду возле универсама – но вылечим. В Америке крутая медицина. Я верю в Америку. Папа тебя спасет, дочка. Даже не сомневайся.

Но самое главное – я ничего не боюсь все эти дни. Понимаете? Совершенно ничего.

В субботу я стригусь, еду в “Мегу” и покупаю новую рубашку: чистый хлопок, сто процентов. Еще игрушку Настеньке – смешарика. Всё – на распродаже. Скидка сорок процентов. Мысленно хвалю себя: сэкономил в будущий семейный бюджет. Настенькина мама смеется ласково – у нее голубые глаза, прохладные руки. Она приглаживает чубчик над моим лбом, как мама. Ты хороший, – говорит она. – Ты очень хороший человек. Правда.

Главное – дотерпеть до воскресенья. До часу дня. Просто дотерпеть.

Чтобы время прошло быстрее, смотрю “Неспящих в Сиэтле”. Три раза подряд. И уже полночь – еще один раз.

Незабываемый роман.

В воскресенье без десяти час я стою в мертвой пробке недалеко от бульвара. В мертвой пробке. В воскресенье. Смешарик. Шоколадка. Новая рубашка. Девять красных роз. Черт бы побрал этот город. Эту страну. Этот мир! Я смотрю на часы – стрелка прыгает, как в боевике. Сердце вот-вот разорвется. Представляю, как Настенька и ее мама стоят перед цирком, доверчиво оглядываясь. Надо бы позвонить, предупредить, но я боюсь испортить сюрприз. Испортить всё. Почему ты не поехал на метро, идиот?! Таксист бухтит, что сейчас рассосется и двинется, но я не выдерживаю, выскакиваю из машины. Беги, Форрест, беги! Все бегут вместе со мной, задыхаясь: Том Хэнкс и Джим Кэрри, катится, едва поспевая за Арнольдом, круглый де Вито, ди Каприо и Киану Ривз, – все мои герои несутся рядом, опережая взрывную волну, пространство, судьбу, время.

Без пяти час я уже возле цирка – почти слепой, задыхающийся, победивший всех. Последний герой боевика. Две розы сломались, рубашка насквозь от пота – под мышками жуткие черные пятна. Смешарика я забыл в такси. Кретин! Я судорожно ощупываю карман – телефон и билеты на месте. Слава богу.

Мои билеты.

Наши.

Настеньки и ее мамы. И мой.

Я с трудом перевожу дух и набираю номер, который знаю наизусть. Ищу глазами светлые волосы. Прохладные руки. Да, – отвечает знакомый голос совсем близко. Сзади. Я оборачиваюсь и встречаюсь с Настенькиной мамой глазами.

Это вы, – говорит она ласково. И смеется. Я так и подумала сразу – это вы.

Настенькина мама – чурка.

Ну, то есть не чурка, конечно. Просто все так говорят. Черная. Таджичка или узбечка, я не разбираюсь. Маленькая, смуглая. С большой жопой. У нас в гастрономе такие сидят на кассе – хорошие тетки, честные. Одна старая ведьма всё время ругает их, что они говорят между собой по-своему. Вы живете в России и должны говорить по-русски! Говорю же – ведьма. Я бы в глаз дал. А они терпят, улыбаются. Хотя я бы тоже терпел. Я еще и не то терплю.

Это вы, – повторяет Настенькина мама и смеется. А это Настенька.

Настенька выглядывает из-за матери и тут же прячется. Я успеваю заметить только темные волосы, очень гладкие, очень густые. Как у Натали Портман из “Леона”. И черный круглый глаз. Правый. Совершенно мультяшный. На вид – вполне здоровый ребенок. Я улыбаюсь, с трудом переводя дыхание. Криво то есть. Ну, как могу. Что же ты, Настя. Выходи. Мать подталкивает ее, и у Настеньки обнаруживается еще один глаз – левый. Белок его аккуратнo, до краев заполнен кровью. Как будто Господь Бог ткнул пальцем. И не промахнулся.

Платье у Настеньки красное.

Вот твой дядя-цирк, Настя. Это она вас так называет – дядя-цирк.

Настенька рассматривает меня, приоткрыв рот.

Она очень красивая. Очень.

Я бы хотел, чтобы у меня была такая дочка. Честно.

Никакая другая. Именно эта.

А вот это, говорит Настенькина мама и делает рукой, будто отдергивает занавес. Вот это – наш папа.

Мужик, которого я прежде не замечал, делает шаг вперед. Он тоже чурка, только очень красивый. Как в “Любовном настроении” Кар Вая. Крепкий, высокий. С отрешенным каменным лицом. Смотрит мимо меня – вверх и в сторону. Не удостоивает даже взглядом.

Наш папа – строитель, говорит Настенькина мама с такой гордостью и нежностью, будто чурка только что получил Нобелевскую премию. Только нас с последней работой обманули. Квартира большая, ремонта много, а деньги не заплатили. Фээсбэшники. Так бы мы сами билеты купили... Мы не нищие, вы не думайте. Просто ждать долго не можем. Кто знает, что завтра будет? А она в цирке не была ни разу.

У меня, должно быть, такое лицо, что Настенькина мама вдруг пугается. Вы сказали, что купили три билета, говорит она тихо. Я и подумала, что мы можем папу с собой взять. Но если нельзя, если вы сами хотели, то ничего страшного, он нас тут подождет. Правда, Фарит?

Чурка всё смотрит в неведомую даль, бог знает куда. Может, на Чингисхана. Может, представляет, как убивает фээсбэшников. Я б на его месте убил. Если б смог. Но я не могу.

Нет-нет, говорю я. Всё нормально. Папа – это хорошо. Вот ваши билеты. Рад был познакомиться.

Настенькина мама вдруг дотрагивается до меня – и рука у нее действительно прохладная. Как у Мэг Райан.

Спасибо, говорит она. Спасибо. Вы очень хороший человек.

Ничего, отвечаю я из последних сил. Это вам спасибо.

Всё равно я терпеть не могу цирк.

Где-то под Гроссето

– Белиссимо! – воскликнул агент и с чуточку театральной ужимкой распахнул двустворчатое окно. В просторную спальню (ореховые балки, терракотовая плитка, беленые потолки) тотчас послушно заглянула Тоскана, сочная, захватанная миллионами глаз, но не утратившая от этого ни йоты своей опасной простодушной прелести. Агент положил ладони на полуметровый прохладный подоконник. Было действительно белиссимо: кипарисовый пунктир, провожающий путника к самому порогу, пара причудливых пиний, подсолнухи, оливковая роща, бредущая по дальнему холму. Всё – как в райском рекламном проспекте. Настоящий – только свет, знаменитый тосканский свет, плотный, живой, шелковистый, превращающий в музейную драгоценность и деревенскую пыль, и пожилой шестисотый фиат, и даже смертные человеческие лица.

Агент обласкал взглядом пейзаж, прибавлявший ему минимум двадцать процентов к каждой сделке, и повернулся к клиентке, вопросительно приподняв меховые, отдельной и очень насыщенной жизнью живущие брови. Дом и правда был идеальный – двухсотлетний, но отлично отремонтированный, не слишком большой, но и не чересчур тесный, с собственным садом, но без гектаров оливок или виноградников, которые так хороши на волнистом горизонте, но требуют – о, агент это знал! – самого настоящего потопролитного крестьянского труда. Всего в паре километров – кукольный средневековый городок с пятисотлетним храмом и мэром-коммунистом, три чумы, синьора, два десятка войн, дом римского папы (не того самого, увы, тот был святой, хоть и поляк, а наш – самый обычный пройдоха), рынок по субботам, три магазинчика, один Джотто и пять ресторанов. Будете вечерами ходить в бар к Деборе, пить кофе с граппой и любоваться на закат. Плюс имеется отличное место для бассейна.

Нет, – сказала клиентка, собрав в белую плоскую нитку и без того тонкие губы. – Мне это не подходит.

Как не подходит, синьора?! – Брови агента в ужасе бросились вверх, на лоб, словно пытаясь укрыться в волнистых волосных зарослях.

Никак! – отрезала клиентка и, повернувшись к Тоскане спиной, пошла вниз по певучей лестнице, едва касаясь рукой медовых гладких перил. Точно брезгуя.

Она подошла к входной двери и промерила ее бесцветным взглядом – холодным, спокойным, точным, словно была столяром, примеривающимся к новой работе.

Сюда не пройдет гроб, – сказала она.

Какой гроб, синьора?! – опешил агент: он продал тысячи домов – хороших и плохих, с тайными жучками в балках и явными огрехами архитекторов, домов с поддельной историей и настоящими привидениями, с джакузи и без канализации, с видом на море и на соседскую спальню, англичанам, русским, американцам, больше всего, конечно, англичанам, – но, такого, мадонна, такого он не слышал никогда.

Какой гроб?!

Клиентка повернулась и посмотрела на агента так же холодно и оценивающе, как на дверь.

Мой, – сказала она. – Мой гроб.

* * *

Кошка умерла в пятницу, ближе к вечеру. Одиннадцатилетняя Лялька нашла ее случайно: полезла в шкаф за футболкой и обнаружила в ворохе чистого и грязного – вперемешку – белья щуплое взъерошенное тельце, совсем уже застывшее, неживое. Лялька хрипло вскрик-

нула, отдернула руку, затряслась – не от горя даже, кошка была старая, гораздо старше ее самой, а от страха, – и тотчас прибежал из кухни отчим, подхватил, прижал лицом к старенькой белой майке. Не надо, не смотри, не смотри, говорю. Я всё сейчас сам. Лялька вдохнула знакомый запах – одеколона, пота, кислотоватого баскетбольного мяча – и заорала еще раз, уже просто так, на всякий случай. Мать выглянула из комнаты, придерживая пальцем нужную страницу распадающегося тома, и – сквозь табачную многолетнюю вонь – спросила сердито – нельзя ли потише? Я, в конце концов, работаю. Отчим выпустил Ляльку, сжался виновато – прости, милая, мы не хотели. Видишь, кошка наша умерла. Мать пожала плечами. В тряпку ее заверни и вынеси к мусорным бакам, – распорядилась она. Лялька и отчим переглянулись. Ничего, ничего, – пробормотал отчим. – Мы всё сделаем, не волнуйся. Сказал Ляльке, конечно, потому что мать, громогласно высказавшись, тотчас захлопнула за собой дверь.

Мать была прибита литературой и философией так, как иных прибывает непосильное горе. Флоренский, Борхес, Сартр, “Упанишады”, Блаватская – срач в квартире царил такой же страшный, как у нее в голове, и надо всем лязгал материн голос, безапелляционный, пронзительный, невыносимый, замусоренный умными словами до полной неудобоваримости. В доме часто бывали ее друзья – такие же нелепые, безнадежные, кандидаты неизвестно каких наук, неудачливые журналисты, ни строчки не написавшие писатели, грозные борцы с режимом, который в упор их не замечал. Человеческая плесень, паразитирующая на чужих мыслях, на чужих жизнях, чужих словах. Они именовали себя “интеллектуалами” (самоназвание, такое же бесцеремонное и бесчестное, как самозахват), без конца пили чай и дрянной рислинг по рубль две и говорили, говорили, говорили. Лялька привыкла засыпать под гул голосов, плывущих в дымных клубах “Космоса” и “Явы”, – сталинизм, православие, нравственность, славянство, академик Сахаров, буддизм; к моменту, когда у гостей открывался третий глаз, у Ляльки наконец-то закрывались оба, но даже сквозь сон она продолжала слышать голос матери: костлявая, длинная, нелепая, она всегда говорила больше и громче всех, притопывая в самых важных местах плоской, как лапа, ступней пугающе неженского размера.

Кроме книг и пустопорожней болтовни, мать обожала себя – страстно, целно, неистово, и это была настолько полная и разделенная любовь, что остальным просто не оставалось места. Лялька еще могла кое-как пригодиться, послужить подходящим аргументом – потому ее лет до десяти частенько выводили к гостям, водружали на табуретку и заставляли читать наизусть что-нибудь из “Бхавадгиты” или совсем уже невозможное – Антиоха Кантемира. Уме незрелый, плод недолгой науки, – выводила Лялька, подсмывая вечно сползающие колготки и спотыкаясь на каждой силлабической строке, – покойся, не понуждай к перу мои руки: не писав летящи дни века проводить можно, и славу достать, хоть творцом не быть... Зубрить это было еще сложнее, чем произносить, а понять – и вовсе уж невозможно, но Лялька терпела: гости захваливали ее, заваливали вопросами, умными до идиотизма, и отвечать надо было так же – быстро и умно. Мать заранее писала ответы на бумажке, заставляла учить наизусть и среди недели часто нападала на Ляльку без предупреждения, пыталась взять врасплох, но Лялька старалась, тогда еще старалась, и потому твердо знала, что нужно сказать про Сталина, что – про Рериха, в каком году было написано “Отплытие на о. Цитеру” и чем оно отличается от “Отплытия на остров Цитеру”. Мои гены, совершенный вундеркинд, – скромно признавалась мать. – Представляете, вчера подошла и попросила у меня Тредиаковского! Сама попросила! О, Василий Кириллович, – тотчас отзывался один из гостей, особенно Ляльке ненавистный, – журналист, неизвестно зачем называвший себя культурологом (громогласный гастрит, огненная борода, желтые жуткие зубы), – наш первый профессиональный русский литератор!

Лялька, поняв, что выступление закончено, с облегчением – бочком, бочком – выскальзывала в нормальную жизнь, к себе или на кухню, где сидел, карауля вечно закипающий чайник, отчим, маленький, тихий, лысоватый. Родной. Вот мать была неродная. А отчим – очень родной. Лялька, – радовался отчим почти беззвучно: мать его стыдилась, к гостям не выпускала

никогда, даже чай принести – только заваривать и позволяла; он и заваривал, иной раз – почти до утра, читал втихомолку “Советский спорт”, мыл чашки и бокалы, распечатывал очередную пачку грузинского, а то и дефицитного, со слоном. Отчим был обычный физрук, преподавал в школе, учил мальчишек и девчонок прыгать через коня, подавать крученный, кричал – давайте, зайцы, давайте, не сдаваться! Зайцы не сдавались, а если и продували игру, то зла на физрука не держали. Он был безобидный.

Мать тоже преподавала – но экономику и в институте, что автоматически возносило ее на какие-то сияющие вершины, существовавшие исключительно в ее воображении. Преподавала она, кстати, скверно и экономикки не знала совершенно: бубнила раз и навсегда затверженную методичку, даже не свою – заведующего кафедрой, которого ненавидела и перед которым пресмыкалась с добровольной и неистовой страстью, знакомой лишь истинным советским интеллигентам, этим отважным и святым борцам за права всех униженных и оскорбленных. Отчима мать гнобила, как существо низшего порядка, и отказывала ему, кажется, в самых элементарных человеческих чувствах. Не в чувствах даже – в реакциях. Она, ревнительница Достоевского и поклонница Ганди, даже предполагать не собиралась, что ее муж, этот плюгавенький человек без высшего образования, не читавший Бердяева и Лосева, может хотеть спать или, скажем, есть, если она этого не велела.

Лялька смогла расквитаться с ней за это, только когда подросла.

В детстве – когда важны все молочные и кровоплотные связи – она была к матери привязана, как привязываешься к любой среде обитания, какой бы скверной или странной она ни была. К тому же отчим, как мог, сластил пилюлю: сам менял Ляльке трусишки, штопал колготки, дождалшись, когда она вызубрит очередного Бродского или Славинецкого, шепотом рассказывал не сказки – нет, про войну, про то, как добирался с матерью, царствие ей небесное, в эвакуацию. Три месяца ехали, потихохоньку, а один раз мамка сошла на станции за кипятком, а поезд – раз! – и тронулся. И что? – спрашивала Лялька тоже шепотом, натягивая на себя спасительное одеяло. Так и бежала за теплушкой десять километров, до следующей станции. С чайником. А ты? Лялька замирала, представляя себе степь, рыжую, неживую, и женщину с неразборчивым лицом, из последних сил бегущую за медленно уползающим к горизонту огромным вагоном. В теплушке сидел да ревел, чего было еще делать? – отвечал отчим, и Лялька засыпала, подложив под щеку его сухую, конопатую, необыкновенно удобную руку.

Привязанность к матери, и без того слабенькая, – так, спиртовой раствор нормального чувства, – не пережила Лялькиного пубертата, обернулась ненавистью мгновенно, да какой ненавистью – у Ляльки даже голова закружилась, когда она, ставя на поднос свежий чайник и тарелку с овсяным печеньем, услышала сквозь незакрытую дверь визгливый материн голос: “Какие семейные ценности, какая любовь к детям! Это же просто смешно! Мы же о Флоренском с вами говорим, а не обо всякой ерунде”. “Ну что ты, – вяло попытался урезонить мать кто-то из гостей, – разве это ерунда? У тебя же у самой дочка!” Мать без микроскопической паузы, которую сделало бы даже существо, знакомое лишь с агамогенезом, возразила: “Дочка?! Я вас умоляю! Какое она вообще имеет значение? И к тому же – помните? Отними и ребенка, и друга, и таинственный песенный дар!” Мать завывала, как выла всегда, читая стихи, – боже, как Лялька их сразу возненавидела! Всех этих ахматовых, адамовичей, ивановых – георгиев и заодно вячеславов! И не только их – книги вообще. Книги и мать.

Ни одной книжки в доме не будет, когда вырасту, – пообещала себе Лялька; попробовала взять поднос, но не смогла. Поставила снова на стол. Тощая, прыщавая и высоченная, она в свои тринадцать лет уже не годилась для чтения с табуретки, потому мать приладила ее подносить гостям чай – хоть какая-то польза от бывшего вундеркинда. Ольга! Ты там заснула, что ли? – крикнула мать, словно не отказалась только что от нее публично. Словно не отреклась. Где наш чай? Лялька справилась с собой, посмотрела украдкой на отчима – слышал? Он покачал сочувственно лысеющей головой, сжался в углу еще больше. Конечно, слышал. Никогда

не называл ее Ольга. Никогда. Только Лялечка и Лялька. Это она не со зла, Лялька, – сказал он тихо. Не со зла. Так просто. Ради красного словца.

Лялька кивнула, вышла в большую комнату (мать жеманно называла ее гостиной), обвела глазами клубящихся в дыму интеллектуалов и со всего маху швырнула поднос на стол. Вот твой чай, жри! – прокричала она так, что заглушила и вопли гостей (некоторых, к радости Ляльки, презрительно ошпарило), и грохот посуды, и материно молчание. Она молчала – наконец-то! – округлив и без того огромные выпуклые карие глаза, и молчание это звучало для Ляльки лучше самой лучшей на свете музыки.

С этого дня началась их с матерью война, осмысленная и беспощадная, и с каждым годом взрослеющая Лялька одерживала в этой войне всё больше побед. Ненависть скоро сменилась презрением, смысла которого мать честно не понимала, как не понимала ничего, кроме своего Флоренского. Эта фамилия отныне звучала для Ляльки страшнее любой матерной ругани, даже страшнее слова “интеллектуал”. Лялька демонстративно забросила книги – навсегда, и учебу – ровно настолько, чтобы переползти из класса в класс без унижительных задержек. Но этого было мало. Мать презирала отчима с его физкультурой – и Лялька умолила его, уговорила, чуть ли не силком заставила, но поступила в секцию, на легкую атлетику, хотя куда ей было спортом заниматься? Где это вообще слыхано, чтоб начинать бегать в тринадцать лет? Но Лялька бегала, выжимала из жил всё, что могла, и хоть не грозила выбиться в чемпионки, но и самой отстающей тоже не была. Честно выдавала стометровку за 12,54 секунды: КМС – это вам не хухры-мухры, а на большее не рассчитывала. Ей нравилось не бегать, а то, что они были с отчимом заодно, вместе вставали в несуетную рань, вместе, толкаясь плечами, натягивали в прихожей кеды, вместе трусили по сероватой рассветной парковой дорожке – в любую погоду: в снег, в мелкую дождевую морось, в грязь; а иногда, особенно весной, всё вокруг было таким ясным, промытым и сияющим, что Лялька вдруг взвизгивала, взбрыкивала голенастыми лапами и неслась по парку сломя голову и чувствуя, как улыбается ей в спину отчим. Во время пробежек они почти не разговаривали – а зачем? Мать столько болтала, что эти двое были совершенно счастливы молча.

Когда Лялькины кеды стали на размер больше, чем у отчима (она, к своему огорчению, уродилась в мать – тощая, но громадная, вся в сочленениях и мослах), рухнул СССР – и мать радовалась так, будто лично его развалила. Ляльке было всё равно – она уезжала на сборы, бросала в спортивную сумку майки, трусы, полотенца: так, это не забыла, это, кажется, тоже. А, ну его к черту. На месте разберусь. Она обняла на прощание отчима, окончательно к тому времени переселившегося на кухню вместе с раскладушкой. А ты не волнуйся, – говорил он Ляльке, – мне тут хорошо, в тепле, сижу себе, как сверчок, за печкой, да сверчкую. Лялька расцеловала его в обе щеки, маленького, худого, – только пузико взялось, откуда ни возьмись, и отчим отчаянно этого пузика стеснялся, питался исключительно творогом и удвоил утренние пробежки, но всё напрасно. Всё напрасно. Когда через месяц Лялька вернулась со сборов, отчима уже похоронили.

Токсический миокардит, – виновато сказал врач скорой помощи, прибывший засвидетельствовать смерть. Лялька разыскала его, не поленилась, она хотела знать, как всё случилось. Да так и случилось: сидел, как всегда, на кухне, заваривал чай, слушал через дверь умные разговоры, сверчковал, а потом прилег на раскладушку, и... Такое больное сердце! Ему совсем были противопоказаны нагрузки. Совсем. А он у вас, кажется, спортом занимался? Лялька кивнула, зашла домой, взяла так и не открытую после сборов спортивную сумку и ушла. Навсегда.

Перекантовалась сперва у одной товарки по секции, потом у другой, устроилась продавщицей в ночной ларек, прижилась, подзаработала, но надолго не удержалась – жестоко избива попытавшегося пристать к ней хозяина, благо ноги, спасибо отчиму, были у нее стальные, как у страуса. Только вмажь – голова сразу сама до жопы внутрь провалится. Крышевавшие хозяина бандиты хотели сперва смеха ради переломать ей кости, но потом угостили ликером и отпу-

стили, почуяв свою. Лялька была совсем без башки, как и они, и, конечно, будь она парнем, не ушла бы ни за что, прибилась бы к какой-нибудь шайке и превратилась в обычную бандитскую торпеду времен девяностых: два-три года разудалой жизни, девятка цвета мокрый асфальт, пуля в голову, морг, рай. Но не срослось, не повезло, потому Лялька долго мыкалась на самом дне неласковой московской жизни, пока не вынырнула уже в сытые нулевые – биржевым брокером, причем довольно удачливым. А что, господи? Нервы у нее были как канаты, терпение ослиное, а на этой работе больше ничего и не требуется. Бабки валились на Ляльку со страшной силой – только успевай подбирать; деньги вообще любят смелых и безголовых, к тому же у Ляльки имелась цель, а деньгам это тоже очень нравится. Цель была ясная, очень простая – найти свое место. Не в жизни, нет. С жизнью как раз всё было очень просто. Лялька хотела найти место, чтобы состариться и умереть.

Кошку положили в коробку из-под осенних ботинок отчима – получилось в самый раз, даже свободно, – а на дно постелили Лялькину футболку, ту самую, на которой кошка умерла. Темнело, пахло завтрашним дождем, грибами, и земля в парке, у самой ограды, оказалась такой мягкой, что отчим отлично управился Лялькиным детским совочком, который неизвестно каким образом выжил, спрятавшись на балконе. Вишь, пригодился, – похвалил совочек отчим и аккуратно опустил коробку на дно ямки. Лялька стояла рядом насупившись. Плакать не хотелось, только тянуло и ныло внизу живота. Чего она в шкаф залезла? – спросила она отчима, который без спеха, ласково приминал землю вокруг маленького холмика. Место свое искала, – ответил отчим просто. Это как? – удивилась Лялька. А вот так. Всякий зверь, когда помирает, место свое ищет. Зачем? – не поняла Лялька, чувствуя, как в животе начинает ныть уже по-взрослому, всё сильнее. Затем, что на своем месте и помирать не страшно. Отчим распрямился, обхлопал ладони о штаны и взял Ляльку за плечо. Пойдем.

И они пошли.

Уже возле самого дома Лялька спросила – а кошкино место что, в шкафу? Отчим подумал. Выходит, что так. Видишь, она в твои вещи забралась, не в мамины, не в мои. Значит, тебя больше всех любила. Ты и была ее место. Лялька вспомнила мучительно оскаленное кошачье личико, открытые, похожие на стеклянные шарики глаза. Ей не больно было? Нет, что ты, – успокоил отчим и на секунду прижал Ляльку к себе. – Она же старая была совсем. Просто заснула, и всё. И не проснулась.

Той же ночью Лялька поняла, что тоже умрет. Нет, даже не поняла – почувствовала. Ощутила всем телом и тесноту гроба, и многометровую толщу навалившейся сверху земли, и тихий неостановимый напор червей, шуршащих снаружи о сосновые доски. Она почувствовала, как истаивает плоть, обнажаются кости черепа – дырка, и дырка, и еще одна, с острой костью, там, где был нос. Мощно пахло гнилью, тленом, пробивающимися к жизни, шевелящимися нитями грибницы. Лялька заорала – коротко, утробно, ужасно – и села в постели, зажимая рот и обливаясь холодным, мгновенно подсыхающим потом. Из светлеющей, уже не могильной темноты появился отчим – маленький, перепуганный, похожий на Гагарина, – Ляльке всегда казалось, что он похож на Гагарина, всем: ростом, повадкой, улыбкой, – только улыбка отчима была всегда спрятана, всегда не снаружи, а внутри.

– Ты что? Напугалась, Лялечка? Сон плохой приснился?

Отчим привалился к ней теплым крепким боком, как лошадь, как корова, и таким повеяло от него животным, живым теплом, что Лялька заревела, пуская сопли и объясняя сквозь них, сквозь икоту, что не хочет умирать, что боится, и отчим горячими шершавыми пальцами собирал слёзы с ее прыгающих губ и всё бормотал, что ничего страшного, ничего страшного, доченька, да, умрешь, тут уж ничего не поделаешь, врать не стану, все померем, так уж жизнь устроена, но ты еще очень, очень не скоро, через много-много лет. И только когда найдешь свое место.

Лялька поставила себе простую и очень ясную цель: собрать миллион долларов, найти свое место и дожить там жизнь, спокойно и ничего не боясь. Проще всего было с миллионом: покажите мне кого-нибудь, кто живет в пределах Садового кольца и у кого этого самого миллиона нет. Разве что бомжи да пенсионеры, но Лялька была не бомж: молодая, крепкая, тощая, она печатала деньги со скоростью банкомата и совершенно ни на что не тратила – только на спортклуб, да и то чтобы поддерживать себя в подходящей форме. Она готовилась к долгой и счастливой старости, как к зимовке на Северном полюсе или полету в космос, – старательно, спокойно, ни на что не отвлекаясь. Единственным отступлением от плана стала покупка двушки на Пятницкой: дороговато, конечно, но зато отличная инвестиция. Если с миллионом не выгорит, квартиру можно будет сдавать и на это жить. Отчим согласно покивал головой из своего прекрасного далека, мать проорала что-то громкое и напыщенное – Лялька с ней не общалась и втайне надеялась, что мать обнищала вконец, мыкается где-нибудь, обшаривает мусорные баки, как тысячи московских стариков. Только мать, в отличие от них, была по-настоящему виновата. Хотела всё развалить – вот и получай!

Лялька не пила, не курила, питалась почти исключительно суши и не имела никаких даже самых гигиенических романов. Она жила пустой и совершенно стерильной жизнью, в которой существовало только будущее. Пока в один прекрасный день не почувствовала на беговой дорожке, как прыгнуло за грудиной сердце, никогда прежде не видимое и не слышимое. Прыгнуло, повисело в безвоздушном пространстве и снова пошло, набирая ход, тогда как сама Лялька, наоборот, ход замедлила, плавно перебирая ослабевшими враз ногами и вытирая со лба совсем не спортивный – липкий и мерзкий пот. Дорожка остановилась, и Лялька пошла, всё еще покачиваясь, по мягко плывущему миру в раздевалку.

Доктор попался хороший – симпатичный, молодой, веселый. Он заставил Ляльку сдать кучу анализов, покрутил ее на разных аппаратах и, только взяв в руки ленту ЭКГ, посерьезнел. Даже поскущел. Надо же, – выдохнул он коротко и удивленно, словно получил от Ляльки не оттиск ее тайной сердечной жизни, а удар под дых. Надо же! Бигемения. Не ожидал. Совсем не ожидал. Лялька, натягивая толстовку (джинсы, кеды, майки – моде своих тринадцати лет она так и не изменила: некогда, да и незачем, честно говоря), переспросила с любопытством – как вы говорите? Бигемения, – повторил доктор – и Ляльке показалось, будто в груди у нее распускается куст ветвистой лиловой бегонии. Красиво.

Оказалось – аритмия, сложная, даже изысканная, не слышимая ни стетоскопом, ни на пульсе, но тем не менее вполне реальная. Как смерть. УЗИ подтвердило, что да, никакие это не нервишки, всё по-взрослому, каждый второй удар сердца – неправильный, желудочки – дрянь, придется делать это, это и это, а вот от этого категорически отказаться. Надолго? – деловито спросила Лялька. Пожизненно, – отрезал доктор, которому категорически не нравилось, что после каждого его назначения Лялька улыбалась всё шире и шире. Психанет, как пить дать психанет и выдаст истерику. Лялька не выдала. Я не о том, доктор, пояснила она. Долго я еще протяну?

Врач неопределенно пожал плечами.

Я в интернете посмотрю! – пригрозила Лялька, и доктор сдался – несколько, то есть сколько угодно вы протянете, если не считать, конечно, риска внезапной смерти, да, кстати, при бигемении – восьмидесятипроцентная смертность в случае инфаркта, так что никаких стрессов, вам совсем нельзя волноваться, слышите – совсем! Только не лезьте вы на форумы, я вас умоляю, такого количества клинических идиотов в одном месте даже представить себе нельзя! Риск внезапной смерти – это значит, в любой момент? – уточнила Лялька. Да, – сказал кардиолог. – Это значит, в любой момент. Но ведь это каждый может, сами понимаете... Лялька не дослушала, встала, пошла по коридору, по улице, всё еще улыбаясь: было совсем не страшно, а наоборот – тепло, будто больное сердце досталось ей в наследство напрямую от

отчима, вот если бы нашли язву, как у матери, было бы обидно, а от отчима – от отчима всё что угодно. Вот только времени больше не было. То есть совсем.

Лялька планировала выйти на пенсию лет через десять, в сорок с небольшим, и за год объехать неспешно весь мир, исключая совсем уже невозможные места вроде Сомали, Афганистана и России: на родине она жить не желала категорически и принципиально. Родина была мать. Но теперь десяти лет не было, и года тоже не было, поэтому Лялька торопливо подбила бабки. Как выяснилось, миллиона у нее не было тоже, и сильно не было, но это были уже пустяки: долгая и счастливая старость ей больше не грозила, потому надо было просто взять себя в руки и найти свое место прямо сейчас. Лялька купила огромную карту мира, прилепила скотчем к стене и, подумав, обвела маркером Европу. Близко, спокойно, цивилизованно. Но главное – близко. Далеко лететь было просто опасно – Лялька совершенно не хотела умереть в воздухе, беспомощно зависнув меж двух миров. Она придвинула к себе ноутбук и набрала в поисковой строке – “Кладбища Европы”.

Всё оказалось не так уж страшно. Одна таблетка утром, одна – вечером, не волноваться, не бегать, не пить ничего крепче воды, не, не, не... План был идеальный – найти свое место, купить рядом дом, забашлять кому положено, чтобы не выслали трупом на родину, успокоиться, умереть. Но свое место всё не находилось. Лялька чинно вышагивала по шуршащим гравием дорожкам – в Париже были вкусные блинчики, но кладбища ей не понравились, особенно Сен-Женевьев-де-Буа, просто коммуналка какая-то, честное слово. И повернуться будет негде. Вена оказалась совершенно очаровательной, особенно Центральное кладбище, абсолютно недоступное – увы! увы! – но Лялька, уже готовая внутренне довольствоваться Хитцингским, вдруг случайно увидела себя в витринном отражении – высокая, нескладная, плоская, с вылупленными глазами, совсем-совсем мать. Вена тотчас же потускнела, помутнела, будто подернулась гнилостным сумраком, и Лялька, выписавшись из отеля на три дня раньше запланированного, отправилась дальше. Лондон, Будапешт, Барселона – она моталась по карте, металась по ней, изредка заглядывая в провинцию, но и там кладбища настороженно молчали, и молчало, не отзываясь ни на тенистые кущи, ни на зеленые выстриженные лужайки, Лялькино сердце, аккуратно пропускавшее каждый второй, каждый второй, каждый второй удар.

Италию она проехала почти всю, методично передвигаясь с юга на север, – ничего интересного, руины, макароны, туристический ор. Прокатный “фиат” кряхтел на каждом повороте, жаловался на судьбу, но на границе Лацио и Тосканы все-таки сломался. Сервисная служба прислала механика, молодого, совершенно порнографического красавца в голубом кокетливом комбинезоне на голый лепной торс; механик говорил только по-итальянски и норовил включить то жиголо, то дурака, но Лялька, вообще ни одного языка, кроме русского, сроду не знавшая и тем не менее объехавшая уже почти всю Европу, быстро сбила с красавчика спесь. Евро – они, знаете, лучше любого разговорника. Особенно наличные. А у Ляльки было полно наличных.

Тем не менее, несмотря на евро, провозились они с “фиатом” долго, так долго, что в Тоскану Лялька въехала не к шести часам вечера, как планировалось, а сильно за полночь. Она заранее забронировала номер в агриiturismo где-то под Гроссето – ей нравились эти старые фермы, переделанные под отели, – вот такое бы купить да похорониться в собственной оливковой роще. Но даже совсем заброшенные, в развалинах, стоили под миллион евро. Дорого. Не потянуть. Посередине виа Аурелиа механическая тетка, живущая в навигаторе, вдруг сказала: “Вы прибыли в пункт назначения”. И замолчала значительно.

Лялька притормозила, опустила стекло. Было совершенно темно, пустынно, ни огонька кругом и оглушительно пахло влажными, прущими из-под земли ароматными грибами. Порчини, вспомнила Лялька одно из немногих привязавшихся к ней итальянских слов. Она включила аварийку, вышла из машины. Никаких признаков жилья поблизости не было, и Лялька вдруг поняла, что стоит на старой, римской еще дороге, в самой середине душистой, чуть лепе-

чущей, непроницаемой ночи, и одновременно с этим – в парке, над могилой старой кошки, и рядом с ней, молча, стоит отчим: невысокий, тихий, спрятавший внутри себя огромную, никому не видимую гагаринскую улыбку. Живой.

Лялька засмеялась. Это было ее место. Теперь она точно знала. Она нашла!

Она снова села в машину и, отключив не нужный больше навигатор, съехала с трассы. Мягкая грунтовка петляла в итальянской темноте, пока не уперлась в какие-то ворота. Лялька выключила двигатель, выпила на ощупь свою таблетку и, опустив до предела неудобные сиденья, заснула, без сновидений, без страхов, без надежды – совершенно спокойно. Как в детстве.

Проснувшись она от мягкого, властного нажима тосканского солнца. “Фиат” стоял возле каменной приземистой церкви, у кружевных чугунных ворот, возле которых красовалась табличка: *Cimitero comunale*. Перевод Ляльке не понадобился. Она зашла в церковь – прохладную, совершенно пустую, – подивилась на украшенный живыми пионами алтарь, на ящик с маленькими электрическими свечками. Лялька порылась в карманах и сунула в прорезь тяжелый российский пятирублевик. Итальянский Господь принял неконвертируемую жертву, что-то тихо щелкнуло – и одна из свечек загорелась. Было очень спокойно, даже уютно, как и должно быть в месте, куда люди приходили молиться, жениться, переглядываться, крестить младенцев и отпевать покойников как минимум пятьсот лет. Может, даже больше. Лялька умылась, фыркая от удовольствия, возле чаши со святой водой, прополоскала рот и вышла на улицу.

Кладбище было заперто. Всё правильно. Церковь – она для живых, а мертвые пусть отдыхают. Лялька смерила взглядом каменную стенку и – была не была, что я, зря, что ли, столько лет спортом занималась? – ловко перекинула через нее худое жилистое тело. Среди невысоких саркофагов и крестов тренькнула, словно жестяная, какая-то птица. Лялька обошла небольшое кладбище, трогая ладонью то гладкий мрамор, то шероховатый теплый ракушечник, и наконец присела на треснувшую плиту рядом с кудрявым пухлощеким ангелом. Ангел дул в забавную игрушечную трубу и косил на Ляльку хулиганским незрячим глазом.

Лялька потрепала его по голой горячей попе и засмеялась. Что, брат, – сказала она, – возьмешь меня в свою компанию, а? Ангел согласно промолчал, и Лялька доверчиво, как в детстве к отчиму, привалилась к его мраморному боку. Было тихо и хорошо, и всё еще пахло грибами, как ночью, только на пол-октавы тише.

– Эх, и заживем мы тут с тобой, – пробормотала Лялька, улыбаясь, – эх, и заживем!

Вот только осталось купить дом.

Там, внутри

Так – раз-два, взяли! Раз-два, дружно! Эх, дубииинушка, ухнем! Ну давай, милый, помоги. Помоги мамочке. Вот та-а-ак, а теперь в колясочку. И поехали. Поехали, поехали, в лес за орехами. В ямку – ух!

Суки такие, сволочи.

Хрущевка. Пятый этаж. Ни лифта. Ни пандуса. Ни мужа. А соседям мы с тобой еще сто лет назад надоели. У них и своих проблем полно.

Ну не ной, Костик, мамочка просто немножко устала. Сейчас дух переведем – и дальше запрыгаем.

Прыг-скок, прыг-скок.

Головка болтается, как тряпошная. Кажется, тряхни посильней – и оторвется. Покатится впереди, запрыгает по ступенькам. И все мучения сразу кончатся. Только хрен вам! Не дождетесь. Между третьим и вторым еще раз передохнем. Вот так. Добрались.

А насано то, господибожетымой. Дышать нечем. Три раза ставили домофон, даже мы с тобой денежку сдавали – всё равно ломают. Ну, давай теперь дверь откроем, задом, задом, чтоб не шибануло, порожек, ступенечки, только две еще и остались, вот так.

Вот так мы и живем.

Бабули у подъезда кивают без всякого выражения – привыкли.

В магазин, Вик?

Не, в ЕИРЦ, опять нам жировку неправильную прислали.

“Семье, имеющей ребенка-инвалида, согласно Федерального закона «О соцзащите инвалидов РФ», полагается 50 % субсидия-льгота от стоимости ЖКУ”. Во как. Как в школе – наизусть. Вы знали? Они тоже не знают. Что ни месяц, то, гады, что-то новое понапутают – то за квартиру накинута, то за свет, то за воду, хотя у нас счетчики вообще-то, но им-то всё равно, у них-то дети здоровенькие, так и таскаюсь скандалить, что-что, а скандалить я мастерица. Они там, в ЕИРЦ, аж зеленеют, когда мы с Костиком заявляемся. И всё равно – только поорешь, расслабишься, а они опять норовят жировку неправильную вернуть. Сволочи и есть. Да, Костик? Ты дыши, лучше дыши, до самого пупа. Весна!

Раньше ЕИРЦ на Тухачевского сидел – нам хорошо, близко. По прямой. Четыре светофора. Первый этаж. И подъезд очень удобный. Мы за час управлялись да еще в магазин по дороге. В очередях-то я, слава богу, не стою. Не на ту напали. Морду кирпичом – и напрямую. Нам положено. И никаких удостоверений не надо, да, Костик?

Мы с тобой сами – удостоверение. Все сразу расступаются. Коляска только неудобная. Ну, сидячая такая, прогулочная, до трех лет. А нам-то восемь уже! Ножки свешиваются, ручки торчат. Да и тяжеловато уже. Но инвалидскую я и вовсе с места не сверну, не то что к нам на пятый этаж. Так что пока так будем, а дальше – как получится. Я, как Костик родился, далеко вперед больше не заглядываю. Некогда. Да и что там смотреть? Одна темнота. Девочки на форуме говорят, это как забег. Старт есть, силищи нужно немерено, только финиша нет. Думали, я совсем дура? Ан нет! У нас и интернет имеется! Маша еще провела. Бесплатно. Сказала, что социальная изоляция негативно сказывается и всё такое. Мол, мне одной быть очень для психического состояния вредно. Дура. Как же я одна, если я всё время с Костиком? Говорю же, как есть дура.

И чем им Тухачевского только мешала, я не знаю. Вообще-то район у нас хороший. Очень хороший. Зеленый, богатый – и от центра недалеко. Как будто я бываю в том центре... Но все равно приятно. В объявлениях так и пишут – престижный район. Правда, дом – говно, хрущевка, да еще и панельная, тут такие всё поносили почти, при Лужкове еще. Тогда всё хорошо работало, не то что сейчас. Мы тогда тоже в очереди на снос стояли – я уж и дом

присмотрела, куда мы переедем, расселенным же квартиры тут же давали, правда, на первом этаже, но нам с Костином только того и нужно, правда, сынок? Вон там мы бы с тобой жили, вон в той семнадцатизэтажке, видишь?

Улыбается. Не видит ничего, а всё равно улыбается. Весна.

А как сняли Лужкова – всё, как последнюю дверь захлопнули. Говорят, воровал много, а кто из них мало-то воровал? Собянин, можно подумать, не ворует. Они вообще там все нелюди, уж я точно знаю, разве люди бы ЕИРЦ на Жукова перевели? Приходите, полюбуйте сами! Проспект Маршала Жукова, дом 35, корпус 1. Всё теперь тут: и паспортный стол, и ЕИРЦ, и собес, и налоговая, и хрен еще знает что на постном масле. Просторно, мест сидячих полно, окошек миллион, очередь электронная. Всё по квиточкам.

Но третий этаж. Третий, блин! Третий! Лифта, разумеется, нет.

Чтоб вы все сдохли, сволочи. Чтоб вы все сдохли.

Поднимаемся. Давай, Костик, давай, милый. Еще чуток.

Люди идут мимо, обгоняют. Никому дела до нас нет, и слава богу. Ненавижу, когда помогают.

Чтоб вы все сдохли.

Костик заскрипел – плакать-то он не умеет. Только скрипеть. А если нравится что-то – визжит на высокой такой ноте. “И-и-и-и!” Даже и не знаю, что хуже. Девушка какая-то на ходу в коляску заглянула – и молча ухватила сбоку за раму. Я, конечно, рывкнула сразу, чтоб она руки-то убрала, говорю же – ненавижу, когда лезут, всё равно никакого от их помощи проку, а тут меня мужчина какой-то в сторону отодвинул и легко так, как игрушечку, коляску нашу поднял. И говорит так весело: “Опять вы, Виктория Михайловна, скандалите. А ведь такая красивая женщина, нехорошо!” Я так и ахнула – это ж невропатолог наш, из детской поликлиники, Семенов Игорь Иванович. Я к нему, когда Костик маленький был, как на работу ходила. Верила еще врачам. Потом, конечно, перестала. Когда по всему кругу пробежала – традиционные, нетрадиционные, остеопаты, гомеопаты, говнопаты. Знахари, конечно, бабки. Одна год деньги тянула из меня, гадина, – говорила, что Костика на ноги поставит. Поставила, как же. Меня батюшка потом очень ругал, что я в такой грех вовлеклась и ребенка безвинного втянула. Сказал, что бабке той в аду гореть неотмолимо. Пустячок, а приятно.

Я ведь и в Бога тогда тоже верила. Смешно даже вспоминать.

А Игорь Иванович этот хороший был очень. Не такой, как все. Молодой совсем, только выпустился, всё старался поважнее казаться. А щеки всё равно, как на свет посмотришь, – в пуху. Чисто старшекласник. Прыщики даже на лбу. Не пугал меня совсем, единственный. Я ж тогда к какому врачу ни зайду – плюс еще один диагноз. ДЦП, симптоматическая эпилепсия, атрофия зрительного нерва, задержка психомоторного развития, задержка двигательного развития, задержка умственного развития, гидроцефальный синдром... И еще, и еще, и еще. Как по учебнику переписывали. Врачи в медицинскую карту когда смотрели – у них же глаза на лоб. Ну. Чего вы увидеть там хотели? Слепоглухонемой он у меня! Слепоглухонемой! И не двигается совсем! Только левой ручкой немного может.

А Игорь Иванович глаза не тарасил. Только сказал – ну здравствуйте, молодой человек. Приятно познакомиться. Это Костику-то. Как будто здоровенькому. А ему два года было – головку сам не держал, не переворачивался даже. И жевать не мог совсем. Только перетертое.

Он и сейчас не может.

А мы тогда только с УЗИ очередного пришли, у меня бумажка в руках так и прыгает – нового написали. Дополнительные трабекулы в сердце, дополнительные дольки в селезенке. Как будто мало нам своего! Это что еще, говорю, Игорь Иванович, за дольки на нашу голову? Очень напугалась. А он строго так – вы фильм “Чапаев” смотрели? А я стою, как дура, и понять не могу – при чем тут Чапаев? Игорь Иванович засмеялся и говорит – ну вот как сейчас прямо – что же вы, Виктория Михайловна, такая красивая женщина, и “Чапаева” не смотрели. Объ-

зательно посмотрите. А на дольки эти внимания не обращайтесь. И на трабекулы тоже. Чапаев, знаете, как говорил? Наплевать и забыть!

Так и сказал – красивая женщина.

Я прям чуть не заревела. Ну какая красивая? Я о том, что женщина, и не вспоминала тогда уже. А ведь двадцать два года всего было.

Как я домой-то тогда полетела – как на крыльях! Верила ему очень. А потом и ему перестала. А он помнил меня, оказывается, всё это время. И по имени-отчеству даже! Может, и правда нравилась я ему? Говорю же – двадцать два всего мне было. Девчонка. Не то что сейчас. Двадцать восемь.

Донес он нас с Костиком до третьего этажа, а я то справа, то слева забегаю, всё девушку эту оттолкнуть хочу. Привязалась как банный лист. Налипла прямо, зараза. Идет, молчит, каблуками цокает. И такие ладные ботиночки у нее – на шнурочках, лаковые, черные. И шпилька такая аккуратная. Я ведь тоже на шпильках раньше бегала, любила. Вот всю ночь могла на каблуках проплясать – и хоть бы хны. А теперь уж какой год в одних кроссовках. Зимой и летом одним цветом. Вам, – это Игорь Иванович говорит, – в какой, Виктория Михайловна, кабинет? Я сказала. И он коляску туда на руках донес, хотя можно уже ехать было. Поставил нас на пол и Костику шапочку поправил. Я дернулась – остановить чтобы, Костика ведь трогать нельзя, он не выносит – скрипеть сразу начинает и биться, смотрю, а он тихонько так сидит. Не боится. Может, тоже помнит? Кто ж его разберет? И тут девушка эта говорит – это возмутительно! Я жалобу напишу! Они обязаны были сделать лифт для инвалидов! По закону обязаны! Так прямо и сказала – для инвалидов! Я только рот раскрыла, чтобы ее куда следует послать, а Игорь Иванович ее за руку взял и тихонечко так пальцы стиснул.

И тут только я поняла, что они вместе.

Попрощались мы, он всё в клинику к себе зазывал, куда-то аж на Профсоюзную, в платную, – ну, ясное дело, чего ему в поликлинике нашей за гроши сидеть, если на фифе его куртка замшевая не меньше чем за тыщу долларов. Вы не волнуйтесь только, говорит. Я с вас денег не возьму. Как будто мне не о чем больше волноваться.

Дура. Ну дура и есть.

А Костику, как всегда, сказал – до свидания, молодой человек.

И ушли они.

И мы поскандалили немножко и тоже ушли. Нам ведь в магазин еще. За молоком и за хлебом. Плюс подземный переход. Правда, там спуски есть специальные. Для коляски. И на том спасибо.

Иду я, коляску толкаю, а у самой всё фифа эта из головы не идет: ну почему, почему, думаю, одним всё, а другим – ничего? Вон у нас в первом подъезде семья алкашей живет. Ну конченные просто оба – и муж, и жена, по всем ларькам отираются, асфальтовая болезнь у обоих – на морды смотреть страшно. Четверых ребят наклепали – и все здоровенькие, до одного. Ломом не зашибешь. А нам с Костиком – такое. Разве я наркоманка какая? Я ведь культурная была, хоть и приезжая, – не курила, водку в рот не брала. Разве что пиво иногда немножко, за компанию. В техникум поступать собиралась. И поступила бы, если б не Виталик.

Ох и роман у нас был, господибожетьмой! Прямо хоть в кино снимай.

Я тогда на оптушке работала, в Выхино, и там же комнату с девчонками снимала. Хорошо, весело. На рынке только черных полно. Но они ничего, нормальные, если присмотреться. По телевизору сейчас всё про геноцид русского народа говорят, мол, Америка нас выжить хочет и чтоб только черные остались. Обслуживать их, значит. Для того дерьмократы и стараются, митингуют. Я про дерьмократов не скажу, не встречала, а вот черные – молодцы. Друг за дружку крепко держутся. Я уж сколько лет, как с оптушки ушла, Костика же одного не оставишь, так девчонки мои только пару раз приезжали всего. Посмотрели, поахали, поревели со мной немножко – и всё, до свидания. Я даже не в обиде, честно. Чего у нас с Кости-

ком смотреть? Тесно, ремонт сто лет как не делали, да еще говном воняет. Памперсы знаете, сколько стоят? То-то и оно. Я бы вообще не поехала на их месте. А Гузалька, сменщица моя, раз в месяц, как получка, приезжает. Это из Выхина-то! Так не разуется даже – в дверь войдет, сумку мне с фруктами сунет и всё, назад побежала. Семья у нее в Узбекистане большая, некогда. Я же фруктами торговала. Хорошее дело, чистое, и карман всегда полный. Только зимой холодно и ящики тяжелые. Но я их редко таскала – говорю же, красивая была. Молодая. Всегда кто-нибудь поможет.

Там меня Виталик и подцепил.

На оптушке.

Он охранником туда сразу после армии устроился. Красивый такой. Высокий. Яблоки всё у меня таскал. Хорошие нам яблоки привозили – краснодарские, с хрустом. Не то что это турецкое говно. Химия сплошная.

В кино сперва ходили, на Воробьевых целовались, сережки он мне золотые даже купил. А потом и с родителями познакомил. У них квартира своя была на Рязанке. Трехкомнатная. Девчонки мне всё завидовали – как же, москвич! Ну, ничего, теперь в Ногинске поживут, никуда не денутся. А у нас с тобой своя, отдельная жилплощадь имеется, да, Костик? Погоди, чего ты морщишься? Обосрался, да? Ну, точно обосрался! Ладно, ничего, дело житейское. Уже совсем до дома недалеко.

Свадьбу такую сыграли Девятого мая – мама не горюй! Кафе заказали на тридцать человек, у меня платье было белое – в талию, до самого пола и с голой спиной. А фата со стразами. Мама из Прокопьевска приехала. На Поклонную на шести машинах поехали – всё как у людей. А в августе я уж беременная была.

Как же радовались мы с Виталиком! Как же радовались!

Я легко так носила, хоть бы затошнило разок – так нет. Здоровая была, да и берегла себя очень. Свекровь газету “ЗОЖ” выписывала, так я у нее читать брала и всё делала, как там написано. Только натуральное всё, никакой химии. Мы же с папкой твоим у свекрови со свекром жили, комнату отдельную занимали, не ссорились, ты не подумай. Говорю же – всё как у людей. Хорошо жили. Дай бог каждому. Я в консультацию даже женскую на учет ставиться не хотела. Дома думала рожать, в ванне. Естественно потому что. Виталик отговорил.

На седьмом месяце только сдаваться и пришла.

И мне гинеколог там сразу сказала, с порога, – кесарево и никаких разговоров. Таз узкий, ребенок большой. Это у меня-то узкий! Да я джинсы с мылом всегда натягивала на духовку свою. Ну, ничего, спорить не стала, анализы сдала, убедилась, что всё нормально, – и больше в консультацию не ходила.

Сразу в роддом приехала.

Девочки на форуме говорят, что, если ребенок не такой родился, это врачи во всем виноваты. Они там страшные же вещи пишут – ужас, что в роддомах и больницах у нас творится. А я бы и рада хоть кого-нибудь обвинить, да некого. Меня очень просили, чтоб кесарево, и прыгали очень вокруг меня, ничего не скажу. Но я насмерть встала – очень хотела сама родить.

А как спохватилась – поздно уже.

Сутки промучилась, да потом три часа почти еще на столе.

Выдавили Костика еле-еле, а он синий весь и не дышит.

Вот тебе и сама.

Всё, Костик, молчу-молчу. Не буду больше.

Он не любит очень, когда я роды вспоминаю.

Не буду, говорю. Уймись наконец! А то нас в магазин не пустят!

Да куда ты лезешь, зараза, не видишь, я с ребенком!

Молока пакет и половину бородинского.

Сама пошла! Корова!

Фу, слава богу!

Теперь только за угол завернем – и дома.

Всё мечтала, как с коляской буду повсюду ходить, и все обзавидуются. Вот и домечталась.

А вот и подъезд наш.

Всё, Костик, теперь только до пятого этажа добраться – и мы дома.

Раз-два, взяли! Раз-два, дружно!

Чтоб вы все сдохли, сволочи! Чтоб вам в аду всем гореть, не перегореть!

Батюшка про грехи всё талдычил – мол, это тебе за прегрешения. Молись. А какие за мной прегрешения-то? Что на свет родилась? Я ведь даже аборта не сделала ни одного. А что обсчитывала – так все обсчитывали, жить-то как-то надо. Так я еще со стариков сроду копейки лишней не взяла или если человек одет бедно – я ж не слепая. А у кого деньги есть, от тех не убудет. Многие сами сдачу оставляли. Возьми, Вик, это тебе на конфеты. У меня ж постоянных покупателей было – пол-оптушки.

Молодая, веселая.

Виталика только простить не могу.

И маму.

А так ничего. Всё, слава богу, как у людей.

Ну всё, сынок, всё, пришли. Сейчас мама дверь откроет и попку тебе вымоет.

Господи, тяжеленный же ты какой, а... весь пупок у меня развязал.

Это только сказать так легко – вымоет, а на самом деле приключение целое. Ванна-то у нас – не развернешься, хрущевка же, а Костик, когда его от земли отрываешь, нервничает очень, не понимает же, что к чему. Придерживать снизу надо, под ножки, а у меня уж ни рук, ни сил недостает. Но как-то пока справляюсь. Слава богу, он хоть воду любит, не боится – тоже Маша приучила. Всё они в воде плескались, не наподтираешься потом. Зато мыться стал охотно, а раньше и вспомнить страшно. Хоть вообще ребенка не купай.

Костику как раз шесть исполнилось, когда она приходит-то стала, Маша. Пигалица пигалицей. Дефектолог от фонда какого-то благотворительного. Я вообще-то фонды ихние все ненавижу, особенно волонтеров. Приходят, как в зоопарк. Поглазеют – и давай советы давать. Вы туда напишите, вы здесь в очередь встаньте. Лучше бы полы лишней раз вымыли. А еще дряни нанесут – игрушек всяких. Только пыль собирать. Набор для развития творческих способностей одна даже приперла. Это Костику моему. А он в ручках держать ничего не может, скрюченный весь. Ну не дура? Маша тоже поначалу лезла везде, где не просят. А это у вас почему так, а зачем вы этого не делаете, а давайте я вам вот это вот устройю, Костику будет лучше. Как будто я сама не знаю, как моему ребенку лучше! Подружиться со мной хотела, в доверие втереться. Но я ей хотелку быстро окоротила, так что она уже потом к Костику в комнату молча шмыгала. Даже глаз не поднимала.

По часу они там сидели, не меньше, – занимались. А мне что? Мне главное, что бесплатно. Я ей сразу сказала, Маше-то: денег нету! А она – вы не волнуйтесь, это всё фонд оплачивает. Ну, фонд и фонд. А мне час лишней – прибраться или хоть душ по-человечески принять. За закрытой дверью. С Костиком-то особо не позапираешься – я ж его слышать всё время должна. Так и срем нараспашку.

Ну.

Чего только она Костику не таскала – год ведь почти ходила. И пирамидки, и кубики, и веток всяких наносила, и траву с газонов драла, и музыку ему ставила – песенки, значит, всякие, по сто раз одни и те же. И даже в бубен они там колотили. Я думала, рехнусь. Вы не понимаете, что ли, говорю, что он глухой? А она мне: нет, это вы не понимаете. Костик слышит. Просто по-другому. Ага, через жопу! Надо было еще тогда ее взашей вытолкать. Ее, значит, он слышит, а меня – нет. Умная самая нашлась.

А потом – зима уж началась, а она с весны ходила, говорю же, почти год, – смотрю – елочку притащила искусственную, с гирляндой. Я уж и говорить ничего не стала: ей, видно, что ребенок глухой, что слепой – всё одно. Говорю же – малахольная. Ну, включила она елочку – с разрешением, правда, включила. Костика за столик перетащила – у него столик такой, детский, если стул поплотнее придвинуть, то вроде даже Костик как будто сам сидит. И мне, значит, говорит: можно у вас чаю попросить? Только в стакане. Есть у вас стакан?

Я только хмыкнула: что ж, думаю, за гадина такая, а? Не может не подколоть. Будто мы с Костиком не в Москве живем. И стаканы у нас есть, и чашки, и сковородки тефлоновые. И рюмки даже для гостей. Гости вот только нету. Ну, пошла, заварила чаю в стакане. Как сейчас помню – отличный получился чай, с плевочком. Это мама так всегда говорила, потому что правильно заваренный чай – он как будто с плевком. Ну, пенка такая наверху собирается. Вроде плюнул кто-то. У меня мама кулинарный техникум закончила, их там так учили. Так она на экзамене выпускном обед готовила для комиссии – борщ там, шницель по-министерски, всё, что положено. И чай. Раз заваривает – не вышло ничего. Второй раз – опять. А уж нести обед, показывать. Комиссия ждет, ложками стучит. Так мама, недолго думая, взяла и плюнула в стакан. Пятерку получила.

А мне и плевать не надо – само отлично заварилось.

Несу.

Захожу в комнату, а малахольная эта на столике перед Костиком в целлофановом кулечке снег разложила. И ручку туда его сует. Левую, которая еще живая. Костик молчит, терпит. Увидала она меня, обрадовалась. Давайте, говорит, стакан, вот сюда ставьте.

И я, дура, сама поставила. Своими руками.

А она Костину ручку из снега вынула и прямо к стакану поднесла. А там же кипяток! Как я стакан выхватила, сама не помню. По полу всё разлила, себе колени обварила. Ору как ненормальная. Костик, как почувствовал – затрясся весь, завизжал. Я его на руки подхватила – убирайся, ору, чтоб духу твоего не было. А она, Маша-то, тоже перепугалась до невозможности. Пряма белая вся стала. И всё твердит: простите, простите, пожалуйста, это я, чтоб он холодное и горячее различал!

Гадина такая, а. Пусть своих родит и хоть кислотой живьем обливает. А мы сами разберемся!

Ну, выгнала я ее, конечно.

Так она долго звонила еще, всё поговорить со мной пыталась, объяснить. Боялась, видно, что я в фонд ее жалобу накатаю и ее с работы попрут. А я бы и написала, если б название запомнила. Только в них же сам черт не разберется – сплошная вера, надежда да любовь. А теперь вот выяснилось всё. Как копнешь – иностранные агенты. Детей наших в Америку продают – на убийства. Педофилам всяким, гомосекам даже, лишь бы бабки заплатили.

По телевизору-то врать, наверно, не станут.

Говорить я с ней, понятно, не стала, так она что удумала – на улице за нами следить. По кустам только что не лазила, дура очкастая. Думала, я не вижу. Себе бы сперва зенки вылечила, чем к детям слепым заниматься лезть. День я потерпела, другой, а потом она, видно, по лицу поняла, что я ее срисовала, и сама подошла. И давай опять по ушам мне ездить: мол, не хотите, чтобы я занималась с Костиком, не надо, фонд другого дефектолога придет.

Но занятия ни в коем случае прерывать нельзя. Это почему, спрашиваю. Потому что ты так решила? А она мне: у мальчика сохраненный интеллект, его учить надо. Есть азбука специальная... Да ты, говорю, совсем ненормальная. Какая азбука? Он же слепоглухонемой. И умственно отсталый. Ты карточку его медицинскую сама в руках держала. Или тебе тоже азбука специальная нужна? А она чуть не плачет уже, побелела снова, как припадочная, – и прям кричит: это неправда, Костик умный, у него голова отлично работает, у вас диагноз этот снять можно через несколько лет! Я прям обомлела вся – на целую секунду ей поверила, сучке.

А ведь слово себе давала – не верить больше.

Никогда и никому.

А она всё трещит, за руку меня хватает, всю заплевала – вы в интернат его отдать должны, обязательно! В Загорске есть интернат для таких деток, просто замечательный! Их и ходить там учат, и общаться, и даже компьютерам, и в школе-то они там в специальной учатся. Полная социальная адаптация. Так и сыпет: Мещеряков то для них устроил, Мещеряков се. Любовник ее, наверно. Да точно любовник. За чужих-то так не кричат.

Но я как слово “интернат” услышала, так с меня морок весь и сошел. Как будто я не знаю, какие у нас интернаты. Будто я дура какая. Да девочки на форуме такое про эти интернаты пишут – ревмя только и реветь. Заживо в них все гниют, никто больше трех месяцев не выдерживает. Их потом в братской могиле хоронят. А пенсию, которая по инвалидности, – всю себе, в карман. И жируют. Девочки так пишут. И ведь что смешно, сама же меня Маша к интернету и подключила. И сама показала, где форум этот, где мамочки собираются, у которых дети не такие, как все. Мне только кнопку одну нажать – и я уже там. Читай не хочу. Другого-то интернета мне, слава богу, не надо. А она всё говорит – ну пожалуйста, если сами заниматься не хотите, отдайте Костика в интернат, ну хотите, я на колени встану? Вы же так совсем мальчика погубите!

Тут я коляску с Костиком ногой отодвинула к бордюру, чтоб не укатилась, не приведи господи, и Маше этой всё выдала по первое число. Так орала, что самой страшно вспомнить. Еще хоть раз, мол, увижу, хоть на километр к моему ребенку подойдешь – я тебя своими руками придушу, сил, слава богу, хватит. И ничегошеньки мне за это не будет, потому что меня даже в тюрьму не посадят с ребенком таким!

Ушла она, конечно. И больше мы с Костиком ее не видели.

Слава богу.

Всё, в полотенечко тебя сейчас заверну, и пойдем есть и баиньки.

Не донесла я его, в общем.

Руки устали очень после этого ЕИРЦ. Это ж пять этажей вниз, от нас, потом пять – назад, да еще в ЕИРЦ три этажа туда-обратно. И переход. Да в магазин коляску пока втащишь, вытащишь...

Три шага до кровати не донесла.

Сама упала и Костика уронила.

Только головкой хрустнулся.

Я лежу и думаю – всё. Убила.

А он как почувствовал – голос мне подает. И в первый раз в жизни не заскрипел, не завизжал, а застонал так коротко. Как будто тоже устал очень.

А я встать не могу – так напугалась.

Лежу, и вдруг мне хорошо так стало, спокойно. За окном весна совсем – небо синее-синее, и ветки по нему. Будто эмаль. У мамы брошка такая была, в детстве еще, – овальчик синий, эмалевый, а по нему веточки тонкие нарисованы. Очень красиво.

Пол прохладный, твердый.

И Костик рядом. Тихий-тихий.

Тут я уши ладонями зажала, глаза зажмурила изо всех сил, а сама думаю – как тебе там, сынок? Страшно, наверно. Совсем темно. Ничего не слышно, ни единого звука. И даже шевельнуться толком нельзя.

А он опять застонал – тихонечко так. Но я всё равно услышала.

Обняла его, прижалась изо всех сил.

Сыночек мой, да разве ж я отдам тебя хоть кому-то?

Разве ж ты еще хоть кому-нибудь нужен?

Я же одна на всем целом свете знаю.
Ты там, внутри.

Покорми, пожалуйста, Гитлера

Бледное личико. Черная челка косо легла на квадратный лоб. Под носом – чернильное пятно усишек. Гитлер! – сказала она радостно. И Копотов тотчас же шикнул – думай, что говоришь! И где! Но ведь правда, вылитый Гитлер! Кот, будто поняв, торопливо шмыгнул под живую изгородь – низкорослый, угрюмый, плюгавый. Тощий какой. Ты видел? Бездомный, наверно? Копотов пожал плечами, встал со ступенек. Здесь нет бездомных животных. Пойдем, не сиди на камнях, холодно уже. Она поднялась машинально, как послушный ребенок, и так же машинально села снова, натянула на колени кофту, серую, грубую, похожую на постаревшую рыбацкую сеть. Не каждая бабка такое напялит, честное слово.

Вот я никогда не могла понять. Неужели в нем вообще не было ничего человеческого? Но это же просто невозможно... Биологию нельзя отменить. Она уселась поудобнее, зашарила слепой рукой в кармане кофты, вытянула сигаретную пачку. Московскую, с жутким пародонтозным оскалом на смятом боку. Копотов поморщился. Тут не курили. Ну, старались, по крайней мере. Дорого. Вредно. Немодно. И про Гитлера не говорили – честно говоря, почти по тем же причинам. Она затянулась, с удовольствием, с облегчением даже, как ребенок, получивший долгожданную конфету. Сказала важно сквозь дым: “Но это же невозможно. Человек обязан сострадать другим, если он все-таки человек”.

Копотов, не дослушав, ушел в дом – всё, это надолго, теперь будет нести свою околесицу без умолку. “Тыща слов в минуту”, – мама так про нее говорила. Была права. И не только в этом. Копотов мимолетно подумал, что всё чаще соглашается с матерью, давным-давно мертвой; а ведь как спорил с ней когда-то, как яростно орал, пытаюсь доказать – а что?

Уже и не вспомнишь, к сожалению.

Он вернулся с диванной подушкой, с думочкой. Опять мамино словечко, теплое, домашнее. Вышитое. На, холодно же. Холодно, говорю! Простудишься! Она повертела подушку в руках, как слепая. Или слабоумная. Протянула Копотову обратно. И все равно ужасно его жалко. Такой худющий. Прямо остов. Надо его обязательно накормить. Гитлера? Да нет же, глупый. Кота! Сядь лучше на подушку. Зачем? Глазищи огромные, тонкая шея торчит из вязаного грубого хомута. Постарела все-таки ужасно. И подурнела. Очень. Как будто запеклась.

И всё равно – она.

Копотов сделал еще одну попытку пристроить думочку. На. Подложи под пятую точку. Простудишься. Не простужусь. Тепло же. Даже не верится, что январь. Смотри, всё зеленое. Зеленое, потому что можжевельник и лавр. Лавр? Лавр. Как в суп кладут? Копотов кивнул и немедленно забыл и про Гитлера, и про кота, и про сигарету – потому что она вдруг улыбнулась. Так, что у Копотова даже дыхание перехватило. Как будто и не было этих двадцати с лишним лет.

А помнишь, какой я тебе суп сварила? Ну тогда, в общаге?

Еще бы он не помнил. Кто бы вообще такое забыл?

* * *

В девяносто третьем пришлось особенно туго. Все вокруг торговали, торговались, при-торговывали по мелочи. Копотов даже как-то увидел на площади у Белорусского вокзала угрюмого невысокого мужика с плакатом “Куплю всё” – и апокалиптическая лаконичность этой формулировки долго отдавалась то в голове, то в сердце. Сам Копотов откровенно пропадал. Время было не его, он сам был не ко времени. Диссертация буксовала, репетиторство отмирало как биологический вид, впереди маячил ужасный призрак выселения из общаги. Аспирантура

должна была закончиться – неминуемо, как жизнь. Что будет дальше, Копотов боялся даже думать.

Нуждавшийся одновременно и в книгах, и в деньгах, он обмирал над витринами, подолгу оглаживал глазами вожаденные тома, вновь появившуюся докторскую колбасу, сыр, невиданные прежде заморские деликатесы. Вздыхая, отходил, расталкивая таких же нищевородных зевак, торопился на улицу – в мокрую черноту, в безжалостную московскую осень. Под ногами чавкало, хлюпало; в “Трубе”, обвивая щиколотки и шеи прохожих, плыл желтый неопрятный туман – не то смог, не то человеческие миазмы. Пушкинская площадь над головой грохотала глухо, словно далекая канонада, и Копотов, вжимая голову в плечи, прибавлял шаг – будто предчувствуя август двухтысячного, взрыв, прокатившийся по гулким переходным закоулкам, опережая многоголосый человеческий вой. Преступников не найдут, разумеется. Но сам он, к счастью, в двухтысячном будет уже далеко-далеко от Москвы. На другой планете.

Подземный переход вел его в персональный рай. Копотов поднимался по ступенькам и открывал огромную дверь фирменного магазина “Армения”, всякий раз готовясь внутренне, но всякий же раз – ах! – обмирая от радости. Головокружительные мозаичные своды и острый огненный аромат бастурмы. Копотов вдыхал полной грудью (нюхать, как Ходжа Насреддин, – вот и всё, что он нынче мог), блаженно проваливаясь в детство: каникулы, ВДНХ, павильон “Армения”, мама и папа еще не развелись, папа еще жив, небо еще безоблачно-голубое. Кто-то пихал его, продираясь к выставленному на прилавки турецкому барахлу (турецкие кожанки в армянском магазине – как прав был Гегель, как бы он, наверно, по-гоголевски хохотал), и Копотов неохотно выныривал в новую Москву – к зачумленной ВДНХ, к своему неузнаваемому будущему.

На кафедре было уныло, никто ничего не понимал, не знал, не хотел знать и понимать, и только научный руководитель Копотова, лысый, желчный, злобный, с шизофреническим упорством делал вид, что всё в порядке, – и раз за разом возвращал Копотову главы его никому не нужной диссертации, испещренные ядовитыми, почти ленинскими маргиналиями. Проглотив очередную порцию “ослов” и “бездумных балалаек”, Копотов решился написать в один немецкий фонд с громким лающим названием. Фонд располагал уникальной библиотекой и раз в квартал выпускал еще десяток аппетитных брошюрок, малотиражных, сереньких, но вызывающих у любого историка нервную и сладостную дрожь во всех членах.

Над письмом Копотов корпел несколько дней, то и дело заглядывая в словарь и дуя на красные ледяные пальцы. В научной библиотеке не топили и даже не обещали, и над читальным залом стоял непрерывный топоток: немногочисленные сидельцы из последних сил пытались не замерзнуть. Библиотекарша, немолодая, некрасивая, закутанная до бровей в какой-то нелепый пуховый платок, – будто из блокадной хроники, честное слово, – швыряла книги на стол, будто это они были во всем виноваты. Копотов подошел, деликатно попросил что-нибудь с сугубо деловой лексикой – может, есть какое-то пособие, я составляю официальное письмо, хотелось бы быть понятым совершенно точно. Немецкий его хромал, если честно, на обе ноги. Библиотекарша встала и вдруг прокричала низко, страшно, как над могилой – они не имеют права! у нас фонды! фонды драгоценные! – и ушла куда-то в книжную темноту.

От всего этого веяло не безнадегой даже – настоящим безумием.

Копотов управился наконец, измарав четыре черновика и едва совладав с непокорными умляутами. Холодея от собственной дерзости, он запросил целый список литературы, как говорила бабуля, – и то, и сё, и жареное поросё. Особенно хотелось монографию одного американца, толстенную (тираж 300 экз.), которая бревном, как Маяковский, лежала поперек темы Копотова. Не переварить или хотя бы не процитировать невозможно. В библиотеке монография наличествовала, но на абонемент не выдавалась, и поскольку денег на ксерокопирование у Копотова не было (как, впрочем, и ксерокса в самой библиотеке), он третий месяц мучи-

тельно переписывал вождельный талмуд от руки, ощущая себя всё больше погружающимся во мрак непридуманного Средневековья.

Копотов расписался, подул на листок, как старательный первоклашка. Ну, господи благослови. Снова бабуля. Хорошо, что не дожила до всего этого, бедная. Авось, хоть на этот раз повезет.

Очередь на почте хвостилась огромная, угрюмая. Тут тоже не топили. Хоть в общаге было тепло. Копотов отпер комнату, с наслаждением стянул шарф, извлек из-под куртки нагретый, похожий на веселого младенца батон. Укусил его за вкусный теплый бок. “Сейчас чайку марцизмом!” Он вынул из портфеля черновики, просмотрел бегло, радуясь сделанному делу, – и вдруг сел. Снова встал, серый, жалкий, растопырив так и не отошедшие от могильного библиотечного холода красные клешни.

На всех четырех черновых листках красовалось аккуратное “*mit tiefer Verachtung, herr Kopotov*”.

С глубочайшим презрением. Копотов.

Все четыре раза.

Значит, так и отправил.

Копотов с трудом проглотил хлеб, еще мгновение назад нежный, ноздреватый, живой. Посмотрел на часы – бежать на почту поздно. Боже, какой болван! Как, откуда выскочила эта чертова приставка *Ver*, как волка в оборотня, превратившая глубочайшее уважение (*tiefer achtung*) в этот возмутительный, наглый, бестактный ужас! Копотов всплеснул руками, всхлипнул и все-таки потрусил на почту, давно закрытую, темную, пустую.

Наутро он, разумеется, опоздал – всего на пять минут, но корреспонденцию (какое сухое, рычащее слово!) уже увезли в брезентовом мешке. Бесполезно, безнадежно, не были счастливыми, не стоит и начинать. Несколько темных во всех смыслах недель Копотов бродил по самому дну ледяного илистого отчаяния, ожидая ответного ядерного удара, вторжения оскорбленных фашистско-немецких захватчиков, чуда, одного-единственного, очень маленького. Пусть письмо потеряется. Всего-навсего не дойдет. У всех же не доходят.

У Копотова – дошло.

Старик-профессор, разбирающий почту (достойный правнук того самого, с лающей фамилией, что и основал фонд, вложив честно заработанное не в ценные бумаги, не в наследников, а в чистую память, в историю, никому не нужную, глупую, самую неверную из наук), высоко вздернул пегие брови, мотнул головой, словно получив оплеуху, – и вдруг захохотал, заухал, хлопая себя по твидовым острым коленкам. “Шельмец, ну какой шельмец! Лизхен, ты только посмотри, как он пишет – “с глубочайшим презрением”! А еще говорят, что русские потеряли гордость. Э, нет! Только не историки, Лизхен! Только не историки”.

Извещение на посылку принесли к Новому году. Копотов, изумленный, не верящий, долго перебирал драгоценные книги, всё не знал, куда их пристроить – как руки на первом свидании. Наконец составил стопкой у тумбочки, чтобы дотянуться даже ночью. Ни письма, ни открытки в посылке не было – пронесло, слава богу, спасибо бабулиной присказке. Не обратили внимания. Не прочли.

А к весне на кафедру пришла бумага. Один из весьма почтенных германских университетов приглашал герра Копотова под свои легендарные своды для осуществления научной работы. Стипендию герру брался выплачивать столь глубоко презираемый им фонд. Он же сулил оплатить все дорожные расходы. Научный руководитель возмущенно воздел бумагу к потолку, завопил, срываясь на жалкий крик – они там с ума посходили?! Почему презираемый? Откуда они вообще тебя знают? Даже не лучший наш аспирант! Тогда как только у меня четыре учебно-методических пособия! Одних научных публикаций – сто двадцать девять! Копотов, борясь с неуместным желанием прибавить бессмертное про “куртки замшевые, тоже

три”, кивал виновато и угодливо, а сам мстительно отмечал в мысленной книжечке – вот тебе осел, вот тебе бездумная балалайка, вот тебе четырнадцать (!) раз переписанная первая глава!

Его попробовали отговорить, не пустить, но Копотов только отмахнулся не глядя. Впервые в жизни его несла волна успеха – и не “эх” прятался в глубине этого ликующего слова. Не “эх”, а “ах”! Германия планировалась на сентябрь, впереди было целое лето – прощаний, расставаний, сборов, счастливейших хлопот. Впрочем, быстро выяснилось, что расставаться и прощаться Копотову не с кем. Научный руководитель, завидев его издали, гневно вздергивал козлиную бородку и переходил на козлиную же, брыкливую рысь, норовя укрыться за ближайшей дверью. Однокорытники, и прежде совершенно чужие, мыкали свою собственную Москву и радоваться чужой удаче не спешили. Кто-то пожал ему на ходу руку, кто-то вяло бросил – смотри, зацепись там покрепче, старик, – не пытайся даже вспомнить, как Копотова зовут.

Да Копотов и сам по именам всех не знал – зачем?

В общем, отвальная отвалилась сама собой. И слава богу.

Со сборами тоже вышло нескладно – за годы учебы, включая аспирантуру, Копотов нажил только тонну книг, нетранспортабельных, как пациент с черепно-мозговой травмой, чемодан барахла да собранную по сосенке посуду, на которую никто не позарился. Книги он пожалел отдавать сам, долго мучился, не зная, что делать, – какие взять с собой, какие снести букинистам. Страдал, как в апокрифе про мать и разбойника, который велел сам выбрать ей, какого ребенка убить, а какого – оставить. Свечи и полуночные молитвенные бдения не помогли, Копотов так и не решил, как поступить, и потому малодушно казнил всех – решение, знакомое любому тирану или мямле. Книги были проданы – все, чужим незнакомым людям. Себе Копотов оставил только те, что прислал фонд, – не на память даже, а просто желая задобрить судьбу, вдруг обратившую на него свое безумное, вылупленное, благосклонное око.

Он почти покончил с прошлым, раздал даже долги и доживал последние недели в сразу ставшей просторной и гулкой комнате, полной только надеждами, – тоже, впрочем, совершенно пустыми. Москва, люди, вещи – всё подернулось дымкой, стало полупрозрачным, зыбким и то и дело шло нежной рябью, сквозь которую пробивался только свет, далекий, негромкий, настоящий. И свет этот придавал всему такую зримую глубину, что Копотов, обычно не склонный к пустопорожнему интеллигентскому лиризму, даже подумал как-то, что именно таким, наверно, и видят наш мир ссыльные ангелы.

И тут приперлась она.

Копотов, ничего не подозревающий, беззащитный, распахнул дверь (комендантша? сосед, все-таки соблазненный дармовой кастрюлей?) и даже зажмурился, как маленький, – чур меня, чур! Но она никуда не исчезла, конечно. Стояла на пороге (Копотов трусливо, воровато обшарил глазами – слава богу, в этот раз без чемодана) и, как обычно, собиралась расплакаться.

Коса (вы только подумайте, не отрезала!), торчащие скулы, глазищи. Всё как всегда. Это я, Саня! Она всхлипнула, раскинула руки – дурацкий, мелодраматичный жест, – и Копотов покорно прижал ее к себе, худенькую, родную, и тут же испуганно оттолкнул, всей грудной клеткой почувствовав неладное. Новое, горячее, живое. Покраснел сердито, не зная, куда смотреть, что делать. Вы только подумайте. Сиськи себе отрастила.

Сколько он ее не видел? Да, больше года уже. И еще столько же не видел бы, господи прости.

Она пила чай, хлюпая, не вынимая ложечку из чашки, но не забывая при этом жеманно топырить мизинец. Дурацкая привычка. Вторая – еще хуже. Но делать замечания бесполезно. Проверено. Она всё равно не слышала, не слушала, не менялась. Что еще? Вскидывала мокрые несчастные глаза после каждого глотка. Страдала. Сожрала при этом всё печенье до крошки. Правда, печенье принесла сама и ему предложила – всегда предлагала, никогда не забывала, что Копотов есть. Как-то притащила из гостей пирожное “картошку”, завернутое в салфетку, – с единственным маленьким жадным укусом на коричневом мягком боку. Сказала виновато

– там только по одному давали. Это тебе. Нет, честно. Этого у нее было не отнять. Она его любила, Копотов это знал, правда любила, очень. Может, его вообще никто так никогда не любил. Но это же не повод, черт подери! Являться вот так – без письма, без телеграммы!

Она не выдержала, все-таки разревелась, невыносимо всхлипывая, – какая телеграмма? Оказывается, она и не уезжала из Москвы, жила сначала с этим, ну, ты помнишь, а потом с Виталиком, а он, а он, ты представляешь... Копотов даже зубами скрипнул – опять?! Замолчи, в конце концов! Я не обязан это слушать! Только не я! Как ты вообще можешь... Копотов отвернулся, чувствуя, как жалко дергается щека, господи, скорей бы уже уехать, не видеть никого, ее особенно не видеть! Даже не вспоминать, что она есть. Она тотчас же чутко перестала плакать, встала, подошла сзади, теплая, маленькая, виноватая. Пушистая вся. Как жеребенок. Прижалась к спине, и Копотов снова ее оттолкнул – испуганно, грубо, некрасиво, как чужую.

Как чужой. Господи, сиськи эти невозможные! Почему у нее? Только не у нее!

Вообще, Копотов любил грудастых, грубых, бойких. Засматривался жадно на продавщиц, горевал втихомолку, что их вытесняют новые интеллигентные тетки, серые, скучные, пресные, как маца. Пока однокурсники атаковали вымороченных филфаковок, он ошивался по общагам, по легендарным ЦПХ, предпочитая заумным сухарям самую лакомую свежую сдобу. Швейки, ткачихи, укротительницы троллейбусов. Грубая роба, дешевые трусики. Мозоли на крепких жадных ладошках, бесшабашные махонькие надежды.

В конце концов Копотов прибил к комнате, да, да, к целой комнате бойких развеселых девах. Полноценная малярно-штукатурная бригада. Плитку тоже ложим, если надо. Копотов их обожал, просто обожал. Можно было не пыжиться, не читать ненавистного Бродского, вообще ничего не делать. Девки сами покупали вскладчину спирт “Рояль”, какое-то гнусное сиропное пойло, именуемое ликером, жарили целую сковородку такой же румяной и огненной, как они сами, картохи. Напивались – весело, дружно, не напивались даже – переводили дух. Потчевали Копотова в восемь проворных рук – а вот капустки, картошечки, хлебца ему дайте, бабы. Горбушку хочешь? Не, мужику лучше мякушку. Копотов сонно жмурился, слушая их легкую пьяную болтовню, уютную, почти домашнюю, – девок не волновала политика, срать они хотели в три вилюшки и на Ельцина, и на Гайдара, и на то, куда катится страна. Всё, служившее на истфаке поводом для бессмысленных едких споров, вообще не существовало в этой комнате, и это было счастье, настоящее, хоть и маленькое, как в детстве. Изредка то одна, то другая заводила спьяну про мороз, малиновку или бухгалтера, остальные подхватывали – громко, даже яростно, будто не ерунду пели, а настоящее. Про “Варяга” или даже про священные вихри.

Да человек спит, бабы, не видите? Не орите!

А он спать, что ли, сюда пришел?!

Они хохотали заливисто, дружно, как гиены. Копотов улыбался виновато, тер глаза. Молодой, нескладный, нищесборный, он был для них вроде большой плюшевой игрушки – такой же нелепый, ласковый. Безобидный. С ним не связывали ни будущее, ни прошлое. Копотов был без очереди. Без сдачи. Без обязательств. Весь здесь и сейчас.

Девки убирали со стола, расстилали, позевывая, постели, стягивали покрывала, рейтузы, кофточки, свитера. А чего стесняться-то? Все свои. И вообще, сама погуляй, а мне завтра к семи на объект тащиться. Копотов поначалу краснел, дожидался спасительной тишины, обмирал, затаивал дыхание, ждал, пока все заснут, не решаясь вскарабкаться, шевельнуться. Но его малярше тоже надо было на смену, к громадным валикам, ведрам, к мастерку – ну давай уже, чего ты телишься? И Копотов решался, входил потихоньку в раж, так что старенькая койка иной раз по полночи победительно скрипела пружинами да ахала то и дело, не утерпев, коповская простодушная жаркая подружка. Отавав свое, она засыпала мгновенно, словно выключалась, а Копотов долго еще лежал в темноте, медленно трезвеющий, счастливый, чувствуя,

как тяжело и нежно лежит на его тощем животе огненная, влажная женская нога. Счастье. Это всё и было счастье, как выяснилось.

Как-то раз малярша не заснула, ушла куда-то, топоча, словно ежик (Ты куда? – На кудыкину гору), потом вернулась, ззябшая, вся колючая от мурашек и неожиданно требовательная. Как будто чужая. Копотов послушно, хотя и не без удовольствия повторил свой подвиг, и малярша утопотала снова в неверную, вздыхающую темноту и снова прибежала (У тебя живот, что ли, болит? – Сам ты живот, дурак, а ну подвинься), и снова, и еще раз, пока Копотов не заснул наконец, обессиленный настолько, что не мог больше даже удивляться, а комната всё кружилась тихонько вокруг него, хихикая и лопоча, лопоча и хихикая...

Наутро девки, счастливые, даже чуть замазлившиеся от довольства, простодушно пересмеиваясь, сварганили ему глазунью из десятка яиц, и, только собирая фантастически вкусной корочкой последний густой, щедро наперченный желток, Копотов вдруг всё понял. Опаньки! Он поперхнулся, закашлялся, налившись краской, но девки смотрели так уважительно, что Копотов справился с собой, распрямился и даже затребовал водки.

Дали, разумеется. Со всем почтением.

Он возвращался в общагу остограмленный, звенящий внутри и совершенно счастливый. Московский снежок, уютный, теплый, мягкий, таял на губах, на скулах, на не покрытой по-мальчишески голове. Впервые Копотов не зяб, не трусил краем тротуара, а шел вальяжно, распахнув куртку, присвистывал даже по-хозяйски, радуясь крепкому молодому орангутангу, который победил в нем скверного недоисторика, аспиранта первого года обучения, жалкое, в сущности, существо.

На проходной сидела, скукожившись, девчонка, прижав коленкой клетчатый старенький чемодан. Копотов мазнул по ней сытым взглядом и пошел было к лифту, но его окликнула вахтерша. К тебе гости, Копотов. Глаза-то разуй. Девчонка поднялась виновато, и Копотов, близорукий, всё еще по инерции счастливый, обернулся, узнавая сперва чемодан, потом...

Она. Господи, ну конечно.

Вы только подумайте, она.

В лифте тоненько сказала – а я из дома ушла, Сань.

И только в комнате, выпутываясь из пальто, дурацкого, клетчатого, в рифму с чемоданом, призналась почему.

Месяц вырвала из копотовской жизни. Месяц. С кровью. С мясом. В самом прямом смысле. Прямее не бывает. Копотов орал как резанный. Он вообще никогда ни на кого не орал. Только на нее. Тебе же восемнадцати нет, дура! Она, всхлипывая, отпиралась – мне девятнадцать уже, Саня. В нос.

Задыхаясь от слез. От соплей. Деятнадцать. Ты забыл.

Ха! Да хотел бы он это забыть!

Как ты могла? И еще – кто он? Два самых бездарных, жалких мужских вопроса. Что она могла ответить? Только ревела, прикрываясь локтем, как будто он посмел бы ее ударить. Убить – пожалуйста. Сколько угодно. Но ударить – нет, никогда. Сутки ушли на глупый допрос, который не привел ни к чему, ни к кому, Копотов даже не напал на след этого мерзавца.

Он не мерзавец. Я сама...

Что – сама? Сама себя обрюхатила?!

Еще сутки на то, чтобы найти клинику по карману. Нет, спасибо. Нет, спасибо. Нет, спасибо. Да, это нас устраивает. Я записываю. Так, смену белья, шприцы одноразовые...

Пришлось пропустить несколько действительно важных лекций. Жалко.

На пороге кабинета она стиснула его руку жалкой ледяной лапкой. Посмотрела испуганно, всё еще на что-то надеясь. Иди давай, – буркнул Копотов грубо, помирая от жалости, от страха, от стыда. – У нас порядок такой: насрал – убери за собой. Она изо всех сил попыталась улыбнуться. Изо всех сил. Даже почти получилось.

Потом долго лежала в комнате, сжавшись под одеялом. Не плакала наконец. Просто молчала. Копотов ворочался на полу, кряхтя, на жиденьком матрасе. Жестко как, блин. Да еще пришлось выпрашивать. Унижаться перед комендантом.

Иди ко мне, Саня.

Он замер, перепуганный. Показалось?

Нет, не показалось.

Холодно же на полу. Иди. Если хочешь, валетом ляжем.

Глупости не пори.

Копотов зажмурился даже, как будто попытался спрятаться в темноте внутри темноты, задышал изо всех сил, притворяясь спящим. Всхрапнул старательно, поддувая носом. И сам не заметил, как заснул – легко, спокойно, будто снова был маленький и обнимал во сне игрушечного зайца, розового, стыдного, девчачьего, но любимого до потертостей, до дыр, до потери пульса.

За час до рассвета он проснулся от игольчатой боли в затекшем плече. Она лежала рядом, на полу, упершись ему в бок острыми коленками. Спутанная пушистая коса щекотала щеку. Ресницы какие длинные. Синие прямо. Копотов покраснел, неуклюже попробовал хоть как-то высвободиться, спастись, не потревожив. И она, не открывая глаза, пробормотала – ты самый-самый лучший на свете.

Копотов замер, застигнутый врасплох, не уверенный вообще, что это всё ему предназначалось: и ресницы, и коса, и эти слова, – точнее, совершенно точно уверенный, что не ему. Но она потянулась, потыкалась носом ему в подмышку (Копотов мысленно охнул, припоминая последнюю помывку: – вчера, господи? Вот черт, позавчера!) и уверенно повторила – ты самый лучший на свете, Саня. Я тебе за это суп сварю.

И сварила. Копотов возил ложкой в мутном ужасном хлёбове, по очереди опознавая лавровый лист, вермишель, картошку (я в шкафу у тебя нашла, она даже не проросла почти, представляешь?), на четыре части разрезанную и до соплей разварившуюся луковицу. О, да тут тушенка! Где взяла, колись? У меня сроду тушенки не было. Она хихикала игриво, довольная своей домовитостью. Не скажу. Секре-е-ет! Вкусно?

Копотов кивал, хотя было невкусно. Но она же старалась. Для него. В комнате было прибрано – кое-как, но рьяно. И даже к чаю нашлись и печенюшки, и рафинад, так что Копотов, глядя, как она, порозовевшая, милая, снова живая, снует от стола к полкам, звеня чашками и улыбаясь, даже подумал с сожалением, что, черт, зря я это всё. Надо было отговорить. Ну подумаешь, ребенок. Подняли бы, никуда не делись. В войну же рожали.

В комнату постучались, она побежала открывать и вернулась, сияя, с парой шоколадных батончиков. “Сникерсы”, господи. Только в Москве появились. Откуда? Угостили! Копотов насупился – кто угостил? Она мазнула глазами – быстрыми, сияющими. Всегда хорошела неслыханно, когда врала. Да я на кухне познакомилась... У вас тут очень милые ребята! Копотов был иного мнения. Ты ешь, ешь, это вкусно! А ты? Да я пробовала сто раз. И вообще не люблю сладкое. Ты же знаешь.

Копотов зашуршал обертками. Поверил. Она присела напротив, подперлась кулачком, глядя, как и положено женщине, – ласково и бездумно. Молитвенно. Погладила Копотова по щеке и, пока он, убаженный лаской и шоколадом, постыдно млеет, спросила легко, необязательно – я поживу у тебя?

Копотов, для солидности помолчав, кивнул. Живи.

Через две недели он ее выгнал. Застал – в собственной комнате! в собственной койке! – с самым гнусным общажным отбросом, который десятый, что ли, год ошивался на факультете, то меняя очку на заочку, то проваливаясь в очередную академку, из которой он неизменно, как мелкий бес из преисподней, восставал. Тертый, мерзкий сорокалетний прохиндей.

Мягкий морозец сменился полноценным февралем, колюще-режущим, ледяным. Копотов еле добежал до своих заброшенных на месяц малярш, трясаясь от холода, как цуцик. В голове всё прыгала, никуда не деваясь, голая лохматая жопа прохиндея, скомканное покрывало, ее разведенные доверчиво коленки.

Да хватит уже! Хватит! Три-три, нет игры!

Дверь открыл, дожевывая что-то, здоровенный бандюган в модном турецком свитере. Копотов о таком только мечтал. Адидасовские треники с генеральской ширины лампасами шуршали при каждом движении бандюгана, как дорогие шины по асфальту. Тебе чё? – спросил без любопытства, скучно. Челюсти, могучие, как у тиранозавра, двигались мерно, как будто жили сами по себе и, возможно даже, обладали, в отличие от самого бандюгана, разумом. Копотов пискнул что-то про виноват, обознался, и бандюган, даже не кивнув, захлопнул у него перед носом врата рая. В глубине комнаты тотчас слаженно, довольно захохотали, заушали девки.

Надо было жениться на них, конечно. Да хоть на всех разом. Опоздал. И тут опоздал.

* * *

Она уронила еще дымящуюся сигарету, будто устала держать. Пошли в дом, наконец. Тут не принято сидеть на крыльце. И окурки швырять куда попало тоже не принято. Виновато подобрала. Прости. Я случайно. Врет. Хотя нет, не врет. И правда, делает всё машинально. Не просчитывая последствий. Вообще не думая. А зачем?

Так я суп тебе сварю?

Копотов, не ответив, пошел наверх, к себе. Долго сидел, открыв сразу четыре монографии, но ни в одной не понимая ни строчки. Надо было заканчивать работу, отчитываться; вся эта возня с грантами, вороватое рысканье за каждым куском начинали потихоньку утомлять. А дальше что? Опять преподавать? Копотов вспомнил предрассветные подъемы к первой лекции, сонные морды студентов, даже не пытающихся подавить зевоту, свое мычание сквозь набивший полный рот и так и не ставший родным язык... Не приведи господи!

Как же херово стареть, даже в очень хорошей стране...

Запах приплыл снизу, настойчивый, мягкий, властный. Как женщина. Не запах даже – аромат. Копотов голодно сглотнул. Еще сглотнул. И не выдержал, захлопнул все четыре тома по очереди. И пятым – ноутбук.

На кухне царил, конечно, кавардак, адский разгром, но Копотов впервые не злился. Вкусно? Давай еще половничек подолью? Погуще тебе? Он закивал, соглашаясь со всем сразу, и она налила ему еще одну тарелку до самых краев. Золотое, жирное, пряное. Копотов запустил жадную ложку, хрустнул чем-то соленым, душистым. Оливка? Каперс? Это солянка, что ли?

Она присела напротив, как когда-то. Как когда-то, подперлась кулачком. Ну, скорее вариация на тему солянки. Сама придумала? Она кивнула. Машинально – снова, как тогда, – поправила не существующую больше косу. Рука скользнула в воздухе и остановилась, как будто растерявшись. Копотов, жуя, подтвердил – зря ты постриглась. И вообще. Нельзя так распускаться. Сорок – это не возраст в Европе. Не знаю, как там у вас. Она взглянула, как будто испугалась чего-то, – быстро, исподлобья. И тут же принялась собирать посуду – неловко громыхая, роняя в раковину то крышку от кастрюли, то нож. Да в посудомойку загрузи, что ты бардак всё время разводишь! Прости, я никак не привыкну. Копотов, нагретый, разнеженный, сытый, немедленно устыдился. Отправил в рот последнюю ложку. Подумал, что хорошо бы тарелку, конечно, вылизать – размашисто, как в детстве. Но устоял. Сказал примирительно – вот не думал, что ты научишься так кашеварить. Посмотрела – опять то ли испуганно, то ли грустно.

Я многому научилась, Саня.

Надо было обнять ее тогда, конечно. Вот именно тогда. Но она сама всё испортила, как обычно. Спросила – у тебя пиалушка есть? Ну, мисочка такая, только не очень глубокая. Зачем

тебе? – удивился Копотов искренне. Это не мне. Это Гитлеру. Он же голодный. Копотов не сразу, но сообразил. Ты про кота, что ли? Я же тебе сказал – тут нет бездомных животных... Она перебила – а голодные – есть. Копотов оттолкнул пустую тарелку. Приятную тяжесть в животе, вкус солянки – всё выдувало стремительно, как тепло из плохо прикрытой двери. Какой-то дар всё портить, честное слово. Не смей кормить чужих животных. На нас подадут в суд. И вообще – не позорь меня перед соседями!

Хорошо. Не буду.

Наутро Копотов, выходя из дома, споткнулся о дочиста вылизанную кофейную чашку. Рядом сиротливо лежал кусочек сыра. Гитлер явно не оценил пармезан.

* * *

Копотову понадобилась целая жизнь, чтобы понять главное, ужасное. Она была просто дура. Вернее, не просто, а дура сердобольная – сочетание настолько же неотразимое и русское, как и роковая красавица, до которых был такой охотник Достоевский. Но если условную Настасью Филипповну можно было (да и, честно говоря, следовало), отчаявшись, прирезать, то на сердобольную дуру нельзя было найти решительно никакой управы. Жалостливые, нестигаемые, бестолковые, они были готовы ради слезинки воображаемого ребенка растоптать жизнь вполне реального человека. Как правило, мужчины. Конкретно – его, Копотова, жизнь. И если время, обнажая правду, легко превращало роковых красавиц во вздорных старух, то сердобольные дуры ухитрялись пронести свою гибельную зыбкую прелесть через всю жизнь: эти милые морщинки у глаз, эти слабые руки, эти всегда готовые к плачу и к поцелую теплые губы...

Как она умела плакать, господибожеемой. Как просила прощения. Как улыбалась. Как самозабвенно влюблялась. Виталики, Костики, Володечки, Сашули – уму непостижимо, как безошибочно она выбирала из неисчислимых тысяч самцов самую редкую дрянь, самую чисто-породную, гнусную сволочь, как самоотверженно принималась ее спасать. Копотов иногда думал, что это было сродни дарвиновскому естественному отбору: если на Мадагаскаре существовала орхидея с игольчатым белым цветком глубиной в сорок с лишним сантиметров, значит, должна была быть и бабочка, обладающая столь же невиданно длинным языком. Дарвин умер. Бабочка нашлась. *Xanthopan morgani praedicta*. Коричнево-пегая, странная. Ночная. Точно так же на каждого мерзавца находилась своя сердобольная дура. А порядочный до крахмального скрипа Копотов так и мыкался бобылем. Бракованный экземпляр. Подвид, для которого у природы не нашлось ни бабочки, ни орхидеи.

Копотов вспомнил, как метался по предотъездной Москве девяносто третьего года, решая неприятно взрослые, комом нарастающие проблемы – в наследство от Виталика ей достались долги, необъяснимые, фантастические. В общагу приходили какие-то криминальные тухлоглазые типы, маячили у проходной, ничего не боялись. Она рыдала, пыталась объяснить что-то про неудавшийся бизнес. Да какой бизнес? Ты же таблицу умножения никогда не знала! И вообще, при чем тут ты? Это твой Вован наделал долгов, пусть он и выкручивается. Виталик, – поправляла она робко. – Виталик, а не Вован. Да какая на хрен разница!

Всё, что Копотов выручил от продажи книг. Плюс еще одна, самая во всех смыслах дорогая. Первоиздание. Раритет из раритетов. Копотов дышать на эту книжку боялся. В две газеты оборачивал, прежде чем открыть. Да ладно, чего уж там. Тоже пришлось продать. Хватило не только на долги, но даже на то, чтобы снять этой идиотке комнату. Потому что она, видите ли, не хотела домой. Она хотела как взрослая, в Москве.

Копотов только рукой махнул. Делай что хочешь. Лишь бы уехать поскорей.

Накануне отъезда Копотов самолично проверил в новой комнате все выключатели, розетки. Потыкал пальцем в щелястую раму. Заклеишь зимой. Лейкопластырь купи в аптеке.

Но заклеивай, как топить начнут. А то отстанет всё к чертовой матери. И воду из-под крана не пей. Дом старый, трубы наверняка говенные. Она кивала в ответ на каждое слово – при- тихшая, перепуганная. Всё равно ничего не запомнит. Ни слова. Гастроном рядом совсем – вроде ничего, приличный. Стиралка работает, хозяйка сказала, можно пользоваться бесплатно. Копотов загибал пальцы, боясь упустить что-то из списка. Самое важное. И да, за комнату заплачено за три месяца вперед. А дальше сама выкручивайся.

Она вдруг села на кровать, уронив руки и тихо, отчаянно попросила – не уезжай, Саня. Я без тебя пропаду.

И, черт, Копотов целую ночь промотался по сонному общажному коридору, чуть не плача от жалости и сомневаясь, сомневаясь. Может, правда не ехать? И пёс с ней, с этой Германией, историей, диссертацией. Можно устроиться в ларек, в конце концов. Другие же как-то устраиваются... Главное – вдвоем. Вдвоем все-таки легче.

К утру всё было решено – по-взрослому, серьезно. Наотрез. Копотов вполне обжил вооб- ражаемый ларек и даже придумал, куда втиснуть в снятой комнате раскладушку. Только книг было жалко. Ну ничего. Новые наживем.

Всю дорогу до вокзала он глупо и радостно улыбался.

Но она не пришла. Провожать Копотова. На вокзал. Просто не пришла.

Может, проспала. А может, просто забыла.

* * *

Копотов входил в чужую жизнь, как в незнакомую реку, – осторожно, медленно, нащупывая зябкой ногой невидимое дно. Германия ему понравилась. Очень. Правда, ожидаемого культурного шока не случилось: разноцветные банки и пакеты в московских супермаркетах были точно такие же и точно так же были Копотову по большей части недоступны. Стипендию ему выплачивали крошечную. А про книги и говорить нечего – в Германии они стоили вообще запредельных денег. Но было спокойно. Очень. Непривычно спокойно.

Лучше всего, конечно, оказалась немецкая бюрократия. Громадная и громоздкая машина, лязгающая чужим пугающим языком, изрыгающая непонятные пока Копотову бланки и формуляры, требующая подписать тут и тут, а вот тут – заполнить, она работала. Работала! Это было немислимо! Немцы, правда, находили в существующем государственном миропорядке какие-то одним им видимые недостатки, но Копотов просто наслаждался тем, что всё было по правилам. То есть если ты нажимал красную кнопку с надписью “Стоп” – всё действительно останавливалось. А если зеленую с надписью “Поехали” – все ехали. И так было всегда, без оговорок и перебоев. В России, ткнув в любую кнопку (хоть в кнопку дверного звонка), можно было получить в ответ всё что угодно – в морду, орден, струю соляной кислоты, гостей из Нижневартовска, цепную ядерную реакцию. Нажимать во второй раз было еще страшнее – закономерностей в России лучше было не искать. Копотову казалось, будто он, долгие годы прожив под одной крышей с опасным психопатом, наконец-то съехал к тихой и скучной старушке, живущей по раз и навсегда заведенному унылому распорядку.

Господи, счастье-то какое, оказывается!

Правда, местные поначалу очень настораживали – дружелюбные, корректные, искренние. Копотов, воспитанный на дистиллированной ненависти к немецко-фашистским захватчикам, долго сопротивлялся, не верил, подозревал то подвох, то под дых, но в конце концов сдался на милость побежденных. Помог язык – совсем, как выяснилось, не сложный. Как и всё вокруг, немецкий состоял из ловко подогнанных друг к другу частей, которые, даже взаимозаменяясь, прекрасно функционировали. Ровные кубики складывались в геометрически выверенные фигуры, фигуры – в конструкции. Сначала из всеобщего грохота и гула стали вычленяться отдельные слова, потом фразы, потом Копотов стал понимать даже самую нераз-

борчивую трескотню и наконец, словно пройдя в ускоренной перемотке собственное младенчество, заговорил сам. Обретшие речь и смысл, немцы и правда оказались славными ребятами. Без всякого двойного дна и подтекста. Чтобы осознать и принять это, Копотову пришлось старательно вымарать собственное детство. Игры в войнушку. Книжки про Зою и Шуру. Штирлица. Всё. Он раз и навсегда запретил себе всякие рефлексии по поводу Второй мировой и усилием воли переселил Гитлера в компанию к Кашею Бессмертному и Бабе-яге.

Трудно, да. Но ничего не поделаешь. Чтобы пересадить растение, надо сперва выкопать его с корнем. Еще лучше – выдрать.

А Копотов твердо решил не возвращаться.

Это оказалось, в общем, не так уж и сложно. Надо было просто следовать указателям. Быть вежливым, понятным. Не напирать. Встроиться в систему. Очень помог старик-профессор (тот самый, из глубоко презираемого фонда), не по-отечески, а по-дедовски снисходительно присматривавший за Копотовым во время его германских штудий. Узнав, что Копотов намерен остаться в Германии, старик заметно огорчился. Россию он никогда не видел, а только жадно начитал и потому любил искренне, даже истово – как можно любить только исключительно воображаемый предмет. Впрочем, Россия Копотова, стылая, мрачная, опасная, тоже была исключительно воображаемой. Какова Россия настоящая, никто не знал. Копотов-то уж точно.

Старик и взял его на работу, собственно. Из чистой милости, конечно. А заодно научил получать гранты. Ничего хитрого, главное – правильно заполнить бумаги и вовремя их подать. Германия была как армия. Или как решето. Автоматически отсеивала мусор. Правда, вместе с мусором отсеивался и заманчивый нестандарт, оседавший по сквотам и столицам, но Копотову это было глубоко фиолетово. Он уж точно был такой, как все. И твердо решил стать немцем. Немецким ученым-историком. На горизонте маячил небольшой ухоженный дом на окраине небольшого университетского городка, шопинг по субботам, почтительные и восторженные ученики. Умеренность и аккуратность. И горе тому, кто подумает об этом плохо.

Конечно, Копотов скучал. Особенно почему-то – по пельменям, магазинным, страшненьким, которые не особенно раньше и любил. Вообще, пищевые привычки отмирали медленнее всего. Копотов давно перестал шарaxаться от целующихся на улицах однополых парочек, купил и даже сносил красные джинсы, смотрел местные фильмы (между прочим, комедии!), поспевая не только за сюжетом, но и за чувством юмора. Но нет-нет и вспоминал с тоской какую-нибудь селедку иваси, разделанную на газете, заливаясь отчаянной ностальгической слюной. Домой он не ездил даже на каникулы. Зачем? Мама писала регулярно. Она – нет. Не писала и не звонила. Вообще. Мама как-то уклончиво, впроброс, сообщила: мол, замуж вышла. Кажется, счастлива. И даже почерк у нее был огорченный.

Ну, вышла и вышла. В первый раз, кажется, из четырех? Копотов довольно быстро сбился со счета. Точнее, перестал считать. А заодно следить за новостями с родины. С русскими немцами он и так старался не общаться – провинциальные громогласные жлобы, как один помещанные на предпринимательстве самого низкого пошиба и толка. Россия с коротким пароходным гудком отбывала всё дальше в прошлое, в туман.

Счастлива – и на здоровье.

Они увиделись только в 2005 году.

Копотов переминался у могилы, стараясь не смотреть на гроб и часто-часто моргая. Всё двоилось, тряслось, как будто снятое с руки оператором-недотепой: деревья, незнакомые лица, серое небо, губы самого Копотова. Он изо всех сил пытался не расплакаться, но не справлялся. Нет, не справлялся.

Мама умерла. Мама.

Еженедельные письма. Звонки. Пару раз всего перевел ей деньги, скотина. А мог бы регулярно. Всего единожды пригласил к себе. Как она удивлялась всему. Как радовалась. Ахала.

Маленькая, одета плохо. Сутулая. Копотов еле уговорил ее купить какой-то шарфик. Яркий, нелепый, распродажный. Особенно поражалась, что Копотов свободно говорил по-немецки, – как ты всё понимаешь? Вот же умница... Сама ни одного языка не знала, бедная. Советский человек. Ремонт так и не сделала. Очень хотела. Не успела. Копотов прособирался. Не помог. Тоже не успел. Зато в горы каждый год катался на две недели. И в Италию летом. Тоже каждый год. Один.

Копотов закусил губу, всхлипнул. Хрюкнул даже. Отвернулся. Кто-то подошел, хрустя кладбищенским гравием. Взял за руку. И Копотов, не открывая глаз, узнал сразу же – по запаху, по теплу. Сгреб в охапку, привалился, зарылся носом, лицом. Расплакался наконец в полную силу, в голос, отчаянно. Она. Слава богу, она. Только и сказала – Санечка, родной. И сразу стало легче.

Великолепная стала. Вот именно это слово – великолепная. Высокая, тонкая. Узел волос на затылке. Шея, как у статуи. Копотов, всё еще смаргивая слезы, всё еще задыхаясь, удивлялся: какая взрослая, господи. А одета как! Каблуки, шелк, кашемир. Пальцем стерла с его мокрой дрожащей щеки помаду. Темно-темно-красную. Как укус.

Ты краситься стала, что ли?

Мне уже тридцать два года, Саня. Можно.

Копотов кивнул, успокаиваясь. Можно. Тебе вообще всё можно. И всегда было. Только мне ничего нельзя. Она засмеялась – тоже по-новому, запрокинув голову, напоказ. За спиной у нее маячил какой-то мужик, грузный, седой, квадратный. Следил за каждым движением ревниво, как волкодав. “Муж?” Она легко кивнула. “Не наигралась еще?”

На этот раз всё очень серьезно, Саня. Навсегда.

Мама писала, что в прошлый раз тоже всё было... – Копотов осекся. Не смог договорить. – Ты надолго приехала? Она оглянулась на своего волкодава. Всего на пару часов. У Коти дела, он не может фирму надолго оставить. У Коти! Копотов даже зубами скрипнул от отвращения. Она попыталась взять его за руку. Не злись, Саня. Я тебе позвоню. Или напишу. Обязательно! Или по скайпу наберу. У тебя же есть скайп?

Она правда позвонила. Через год, когда Котя канул в ожидаемое небытие. Бросил ее, скотина. Да еще и бил, оказывается. Лупил как сидорову козу. “Как ты вообще могла это терпеть, не понимаю?” Копотов дернул от злости микрофон. Она только плечами пожалала. Он хороший человек, ты не думай. Просто не очень уравновешенный. Жалко его очень.

Да у тебя все хорошие! И всех жалко!

Да, – сказала она очень серьезно. – Все хорошие. И всех жалко.

Они тогда перезванивались почти каждый вечер. В девять часов по ее времени. Как Копотов спешил домой, господи. Отменил все вечерние встречи, занятия, бдения. Не разуваясь, бросался к компьютеру. Она ждала уже, сидя в кресле, иногда распадаясь на пиксели, иногда уплывая голосом куда-то в космос, отчаянно фоня.

Приве-е-ет! Ну, рассказывай, как ты? Сколько страниц сегодня написал?

Копотов улыбался, едва удерживаясь от желания погладить монитор. Отчитывался самым аккуратным образом. Что ел, как спал, сколько тонн словесной руды наработал. Сны даже свои рассказывал, идиот. Ей всё было интересно. Правда. Он это видел. Чувствовал. За пару каких-то месяцев она выучила по именам всех его коллег с их нехитрыми интригами, знала, какие булочки он покупал к завтраку, напоминала, что пора забронировать апартаменты в отпуск. В Баргу, как всегда? – Да.

Слушай, а поехали в этом году вместе?

Копотов репетировал эту фразу несколько дней.

Еле выговорил.

А? Поехали? У тебя же всё равно в мужьях пересменка.

Монитор. Камера. Стол. Две незнакомые комнаты, испуганно вглядывающиеся друг в друга. Эрзац общения.

Копотов зажмурился даже. Давай, дура! Я соскучился до смерти. Скажи “да”!

И вдруг там, у нее, в Москве, звонил мобильный. Она схватила его и тотчас вспыхнула от радости – ярко, молодо, страшно. Будто кто-то дунул в слабенький ночной костерок. Извини, Саня. Это... я сейчас перезвоню. И отключилась. Больше не ответила ни на один звонок, ни на одно письмо. Просто исчезла. В очередной раз выкинула его из жизни.

Приехала только в 2014 году. Как всегда, без звонка, без предупреждения. В своем репертуаре. Просто зашла на кухню. Копотов как раз ковырялся с тремя мусорными пакетами – стекло, органика, пластик. Вполне достойное занятие для историка. Сортировка ежедневной жизни.

Сказала – это я, Саня. И, как маленькая, уточнила – можно войти?

* * *

На перроне они снова поссорились – слава богу, в последний раз. Копотов терпел, сдерживался изо всех сил, но это было просто невозможно. Сначала она попыталась сунуть чаевые таксисту – полную горсть мелочи, никому не нужные медяки, и даже приبلудившийся к этому брэнчащему табору полновесный ойро. Водитель, степенный, немолодой, в порнографических совершенно подусниках, подавания не принял, но посмотрел с таким вежливым недоумением, что Копотов даже зашипел – тут не принято так давать на чай, дура, я же сто раз говорил, кажется, хорек бы уже запомнил, честное слово... Она кивнула, вылезла из машины неловко, боком. Протянула монеты ему – горячие, влажные. Извини. Я думала... Просто мне уже точно не пригодятся. Копотов машинально взял – и тут же отпихнул ее руку. Попьешь кофе в аэропорту, когда доберешься. Или купишь в поезде... – он поискал в памяти нужное слово, но нашел только никому не нужный *Prinzen Rolle* – два хрустящих печенья, спаянных шоколадом, на упаковке – приторный лучезарный придурок в синем плаще. Монеты снова перекочевали в ее пригоршню. Эмигрировали в очередной раз. В общем, купишь себе что-нибудь.

Она не слушала – явно, демонстративно смотрела куда-то за спину Копотова, так что он тоже оглянулся: толпы людей, носильщики, вкусный, вокзальный запах горячего железа, креозота и будущего. Давай нищему тогда отдадим. Вон, видишь того побирушку? Ужасно жалко. Побирушка, мордастый, щетинистый, черномазый, вальяжно расположился на перроне: картонка под увесистой жопой, пустая банка из-под пива, аккордеон. Это цыган. Ну и что? Она на мгновение удивилась, как будто Копотов сказал несусветную глупость. А то! У него пособие – больше, чем у меня в месяц по двум грантам выходит. И жратва бесплатная три раза в день! Копотов уже орал, всё сумрачное, германское, выпестованное за годы, слетело мигом – на них оборачивались в недоумении, кто-то уже искал глазами спасительного полицейского, а Копотов всё не мог остановиться, всё перечислял свои незаслуженные обиды – я на одни рестораны твои состояние целое спустил, ах, давай еще десерт закажем, а сама в доме срач развела несусветный, книги все мои поперепутала, а долги? Кто в девяносто третьем долги твои отдавал?! Копотов захлебнулся от злости. Ты зачем приперлась вообще? Я тебя звал? Попрошаться хотела, Саня, – сказала она просто и, привстав на цыпочки, поцеловала его в щеку – прохладными мягкими губами. – Ты езжай. Не жди. Дальше уж я сама.

Она шла к вагону, неуклюже загребая ногами, тощими, в темных грубых ботинках, несусветная кофта натянута на лопатках. Некрасивая, жалкая, господи... И только затылок был прежний – светлый, плюшевый. Детский. У подножки она оглянулась еще раз, посмотрела мокрыми перепуганными глазами, но Копотов уже шел к стоянке такси, почти бежал. Облегчение, постыдное, яркое, как воздушный шар, парило у него над головой в тонком сером воз-

духе, обгоняло, норовило сорваться с невидимой нитки. Еще одна незапланированная трата, последняя. И жизнь снова пойдет замечательным привычным чередом.

Таксист, вопреки теории вероятности, оказался тот же – неторопливый, в порнографических усах. Читал, поджидая клиентов, Копотов, садясь, привычно подсмотрел – Достоевский. Однако. Спасибо, хоть не по-русски. А я думал, это вы уезжаете. Копотов удивился – почему? Тот, кто остается, всегда больше грустит. Ваша подруга была очень грустная. Копотов раздраженно поправил – она не моя подруга.

– Всё равно очень грустная.

Таксист глубокомысленно покачал головой, покалеченной Достоевским, тронулся, и Копотов, провожая глазами вечернее небо, сырость, мглу, отплывающий вокзал, вдруг вспомнил, как она посмотрела на розы – мелкие, зимние, суховатые, и сказала удивленно – смотри, они даже в январе живые, – а потом плакала ночью, каждую ночь – тихонько, как будто скулила; а он ни разу не постучался, не вошел, только злился, проходя мимо чуть приоткрытой двери и подбирая с пола там – носок, тут – мятую футболку. Какая страшная бардачница все-таки. Никакого порядка. Ни в жизни. Ни в голове.

Дом никуда не делся, слава богу. Копотов махнул рукой соседям, совершающим оздоровительный ежевечерний моцион, вдохнул побольше воздуха – синего-синего, мягкого. Чудесного. Скоро январь закончится. Зацветет миндаль. Всё будет хорошо. Слава богу, что она уехала. Копотов отпер дверь и по невытравимой русской привычке пошел сразу на кухню.

На холодильнике, прижатая пузатой сувенирной матрешкой (только она могла догадаться привезти такую дрянь), висела записка.

Покорми, пожалуйста, Гитлера.

Он понял – сразу, махом, точно налетел лицом на не видимую в темноте ветку. И ее худобу, жалкую, невозможную, особенно торчащий сзади, на шее, острый, как камешек, позвонок. И то, как она смотрела на розы. И то, как плакала ночью в комнате – среди разбросанных, распозшихся по углам маленьких вещей.

Попрощаться! Господи. Попрощаться, идиот!

Копотов вдруг всхлипнул, рывком распахнул шкаф, еще шкаф, холодильник – здоровая разноцветная еда в красивых упаковках, обезжиренная, без сахара и холестерина, богатая клетчаткой, не содержащая ГМО, – коты такого не жрут, и правильно делают. Копотов выхватил наконец коробку сухого корма, громыхнул – слава богу, осталось еще, и сразу почти увидел припрятанное в уголке. Консервы, тоже кошачьи. Сложены аккуратным зиккуратом. Самые дорогие. Он отказался покупать – еще не хватало! Тунец в сливочном соусе. Кролик с креветками. Я себе такое позволить не могу! Когда успела? На что? Копотов с острым, жарким чувством стыда вспомнил, как она копалась в кошельке, шевеля губами, – всё пыталась перевести евро в рубли. Кем она вообще работала? На что жила? Что делала, когда закончились все эти Костики, Виталики и Коти? Когда все ее бросили? Разлюбили? Все. Даже он сам.

Единственный, кто у нее остался, – этот чертов Гитлер.

Копотов распахнул дверь – кота не было. Гитлер, – окликнул Копотов негромко. В живой изгороди что-то шуркнуло и затихло. Копотов громыхнул коробкой с кормом. Гитлер! Эй! Жрать хочешь? Нет ответа. Копотов пересек крошечный дворик, заглянул под черные глянце-витые кусты, хлопнул калиткой и оказался на улице, праздничной, заграничной, ночной. Румяные, уютные фонари. Пряничные домики. Сахаристая изморозь. Рождество. Гензель и Гретель. Самое безопасное место в мире. Как в детстве. Только совершенно, совершенно чужое. Чур, я в домике. Это она так говорила – чур, я в домике. Дурочка, вечно пряталась в одно и то же место – под обеденный стол. Сидела там, занавесившись тяжелой скатертью. Маленькая, теплая, доверчивая. Ахала восторженно: как ты меня нашел? Из роддома приехала в розовом атласном одеяльце. Как Копотов боялся, что ее украдут! Хорошенькая, как кукла. Веселая.

Бежала на толстых ножках, смеялась колокольчиком. Бабуля ее так и звала – Колокошка. На улице все оборачивались, улыбались. Точно украдут! Цыгане. Вот же дура! Копотов сгребал ее в охапку, прижимал к себе, трясаясь от нежности и злости.

Ты кого любишь больше всех на свете? Никогда не задумывалась даже. Саню!

Копотов вдруг побежал, не замечая, что плачет, вообще ничего не замечая. Гитлер! – орал он по-русски. – Гитлер! Гитлер! В пряничных домиках засуетились. Захлопали там и тут двери, загомонили удивленные, негодующие голоса. Копотов заметался среди грубых лающих фраз, виляя, уворачиваясь, шарахнулся от чьей-то красной морды, не признав соседа, милейшего, деликатного, совершенно одинокого. Как и он сам. Как он сам.

Гитлер! Гитлер! Пустите, суки! Да Гитлер же!

Из-за угла уже выворачивала хищный нос полицейская машина, вырывая из темноты то синие, то белые сполохи, и крик сирены, истошный, отчаянный, на мгновение заглушил Копотова и снаружи, и внутри.

Кто-то наступил на упавшую коробку с кошачьим кормом и машинально извинился.

Гитлер пришел только утром. И следующим тоже. И после следующего. Долго и терпеливо сидел у закрытой двери. Никак не мог смириться. Еще через месяц дом сдали веселой, крепкой паре, белобрысой и счастливой до полной потери половых различий. Непохожей была только такса – в отличие от хозяев длинная, черная и гнутая, как обгорелая спичка. Таксу звали Ева.

Гитлер всего один раз посмотрел на нее из-под вечно живых лавровых кустов.

И тоже исчез.

Милая моя Туся

Рыбушкина Наталия Владимировна, 15.7.1855, дочь инженер-технолога, коллежского секретаря Владимира Александровича Рыбушкина (православного вероисповедания) и его законной жены Надежды Леонидовны (лютеранского вероисповедания). Восприемники: инженер-механик, надворный советник Николай Николаевич Зяблов, капитан 2-го Уссурийского железнодорожного батальона Василий Степанович Мещеряков и жена личного почетного гражданина Амалия Федоровна Аделунг (метрич. кн. Архангельской церкви).

В церкви было душно. Амалия Федоровна, полная, кислая, прела в громких парадных шелках и шепотом проклинала старенького священника, медлительно осуществлявшего свое медлительное таинство. Гневила, старая дура, Бога. Помазается раба Божия Наталия елеем радования, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Ну, наконец-то! Аминь! Зудели мухи, отец, затянутый в отлично вычищенный мундир инженера и атеиста, вполголоса обсуждал дела с дядей Колей Зябловым, и только маменька всё время улыбалась, как будто действительно понимала, что происходит, – и пот у нее на верхней губе был щекотный и совсем-совсем золотой. Когда приобщенную и новообращенную рабу божию понесли наконец домой, небо над городом потемнело и с коротким полотняным хрустом разорвалось. Отец, панически боявшийся инфлюэнцы, выхватил увесистую розовую Тусю у Амалии Федоровны и побежал вдоль улицы, высоко задирая худые неловкие ноги и пытаясь фуражкой прикрыть дочь от первых капель, которые тяжело запрыгали по дороге, на мгновение обрастая пушистой пылью, – словно ртутные шарики, закатившиеся под диван...

Нет, всего этого Туся, конечно, не помнила – не могла. Метрики – ее собственная, трех братиков (умер волей Божией, скончался от чахотки, убит), купчие, родительские письма и бумаги – всё лежало на самом дне большой, на три отделения (одно – потайное), шкатулки, которая всегда стояла у матери в кабинете, а потом, повинуясь неминуемому ходу времени, переехала к Тусе. Материн кабинет превратился сперва в будуар восторженной, при каждом шаге шуршащей молоденькой новобрачной, потом в детскую, а затем снова стал кабинетом – но уже ее, Тусиным, совсем-совсем взрослым, а потом маменька умерла. И шкатулку, слой за слоем, стала заполнять уже Тусина жизнь.

Милая Тусинька, сердечно поздравляю с днем ангела! Твоя навеки, до гроба единственная подруга Анна.

Ссорились они, правда, ужасно. По тридцать три раза на дню. Оспаривали первенство. Анечка, единственная дочь дяди Коли Зяблова, балованная, вспыльчивая, крупная девочка, родилась на два месяца раньше Туси и считала это своим несомненным преимуществом. Ей всё должно было доставаться первой – по старшинству: и сливочное пирожное, и Тусина кукла, и лучшая картинка в книжке. Они перелистывали “Ниву” взапуски, крича – чур, что слева, то мое! – и незадачливой Тусе вечно доставалось какое-нибудь уродское развитие зубов тритона (по схематич. модели автора), а довольная Анечка становилась обладательницей прелестной гравюры с картины Амберга “У решетки”, на которой томная барышня с распущенными, как у самой Анечки, невесомыми кудряшками преклоняла цветущий стан через кованую оградку, чтобы напечатлеть целомудренный поцелуй на челе курчавого франта в долгополом, пышно присборенном на задку сюртуке. Я и замуж выйду вперед тебя, – угрожала Анечка, вода по франту пальцем, перепачканным только что украденной в оранжерейке клубникой, – вот увидишь – первая! Потому что я красотка и душенька! Так все говорят. Туся, давясь обидой и завистью, изо всей силы толкала лучшую, до гроба, единственную подругу в теплый, как тесто,

обильный бок. Кудряшек у Туси не было – так, небогатая косица едва до лопаток. И нос, как говорил отец, утицей.

Всё-всё сбылось, как Анечка и грозила. И замуж она вышла первая, и первая приехала с первым взрослым визитом, и первая умерла двадцати четырех лет – от воспаления легких: в субботу еще жаловалась за чаем, что жарко что-то у вас, Туся, вели, пожалуйста, открыть окно, блестела глазами, смеялась – а помнишь, а помнишь? – пока их мужья азартно коротали вечность за картами, а через вторник уже лежала, обиженная, поджав бледные губы, в гробу, и всё тот же старенький священник, что крестил когда-то и Тусю, и саму Анечку, и еще добрую половину города, выпевал утешительным бабьим тенорком – истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Туся плакала и не верила – тогда модно было не верить, а потом снова все поверили, только не в Бога уже, а черт знает во что: она сама крутила столики, рассуждала о надмирном, срывала миги и даже ездила в Москву – специально для того, чтобы послушать Скрябина; и долго-долго даже себе не признавалась, какая это скверная, тревожная, нарочито больная музыка. То ли дело Лист!

И что же? Анечка вот уже тридцать восемь лет лежит на кладбище за решеткой – почти такой же, как на картинке из “Нивы”, а она сама сидит тут одна, в темноте, за заколоченными окнами, не различая, утро уже, день или вечер, и только шарит вокруг руками, шарит и ничего не находит. Ничего не может понять.

Все-таки ночь, кажется. Да! Точно ночь. Тихо-тихо. Ни сверчка, ни жучка. А когда Туся была маленькая, в детской жили древоточцы, так что, если приложить ухо к стене, можно было подслушать, как они вгрызаются в живую бревенчатую плоть хрупкими, черными, безжалостными жвалами. Да, вот еще очень важное! Чуть не забыла. Дом!

Милая моя Туся! Дела задерживают меня в Москве еще как минимум до среды, потому прошу тебя срочно обратиться к нотариусу Николаю Александровичу Ставровскому, с тем чтобы он составил к моему приезду проект купчей крепости на покупку недвижимого имущества по Архиерейскому переулку. Как ты уже поняла, всё решилось в нашу пользу, так что, прошу, ничего не откладывай – и, глядишь, будет у нас к сентябрю с тобою, милая, свой собственный дом! И не просто дом, а тот самый! Целую крепко-крепко тебя и Ваничку. Прошла ли его сыпь? Напиши скорей, что прошла!

Любящий вас всем сердцем Алексей

Нет, нет, это она слепо перепутала – дом появился только в 1881-м, а сначала они с Алёшей поженились – в 1877 году, а до того встречались два лета, пока он приезжал на каникулы из Москвы: сперва только глазами встречались, конечно, а потом и наяву ходили, с благословения родителей, гулять в городской сад. Алёша, светлоглазый, веснушчатый, ужасно важничал и просто безбожно хвастал, так что Туся то и дело смеялась, а он обижался, что она ничего не понимает в медицине и способах остановки кровотечения; и она действительно не понимала: почему просто не наклеить подорожник? Ведь помогает же! Ну правда помогает! Алёша носил тогда студенческую тужурку, и, если крепко закрыть глаза, Туся могла бы и сейчас ощутить сквозь дырочки на летних перчатках шероховатое ее сукно, теплое снаружи от солнца. Иногда перчатка словно случайно соскальзывала, Туся на мгновение касалась Алёшиной, такой же шероховатой, как тужурка, руки и с удовольствием наблюдала, как расплзается по его лицу пятнистая краска – сперва по щекам, потом по шее, но красивее всего, точно рождественские лампадки, вспыхивали уши. Прозрачные насквозь, смешно оттопыренные. Алые. Так на чем я остановился? – торопливо искал утраченную нить Алёша, и Туся, радуясь своей неожиданной власти, поддразнивала – на подорожнике. А еще говорят, заговор хорошо помогает. Поплюешь на три стороны, дунешь – и всё как рукой!

Ночами Алёша, заваливший экзамен, зубрил курс психиатрии Корсакова, а по утрам, чтобы проснуться, делал зарядку и обливался прямо из колодца ледяной водой, которая сперва сверкающей, словно стеклянной стеной стояла в воздухе, а потом разбивалась об Алёшину крепкую безволосую грудь, и он, совершенно по-детски вереща, крутил мокрой круглой головой и смеялся отрывисто, точно лаял. Туся подсматривала сквозь забор, давясь от согласной радости и шурша набитым дроздами вишенником – ну и что тут такого? Они ведь были почти помолвлены и вообще соседи, хотя в детстве, вот странно, вообще не обращали друг на друга ни малейшего внимания, так что Туся и предположить не могла, что задавака в мятой полотняной матроске, которого она изредка мельком видела на улице, станет для нее самым родным и близким на свете человеком.

Он сделал ей предложение как раз в Архиерейском переулке, у дома, который Туся очень любила и который часто ходила навестить, словно он, дом, резной, деревянный, двухэтажный, был ее родственником или другом, таким близким, что не надо и говорить, всё и так понятно. В доме жил скучный мещанин со своим скучным семейством, и Туся казалось, что дому с ними тяжело, не с руки, что он мается, вынужденный давать кров этим постным унылым людям, а вот она, Туся, первым делом насадила бы у забора сирень, да такую, чтоб переплескивалась через край, а шторы по второму этажу пустила бы солнечные, легкие, чтобы летом было похоже, будто дом летит над городом под золотыми парусами.

Она попыталась объяснить это Алёше, и он вдруг сразу понял, засмеялся, заморгал рыжими ресницами и пообещал, что так и будет, вот сама увидишь, и даже очень скоро – они были по детской привычной вольности на “ты”, и Туся засмеялась тоже и уточнила – скоро – это когда? Когда рак свистнет? И тогда Алёша вдруг сдернул с головы фуражку и, быстро вытерев о тужурку потные ладони, спросил ужасно глупо и старомодно: “Наталья Владимировна, вы согласны составить счастье всей моей жизни?” Так что Туся даже не сразу поняла, что он имеет в виду, и несколько секунд представляла, как она составляет Алёшино счастье – аккуратно и вдумчиво, будто шаткую башенку из детских деревянных кубиков, и Алёша потом говорил, что эти несколько секунд ожидания были самыми тяжелыми и страшными в его жизни.

Чернавский Алексей Иванович, потомственный дворянин, 25 лет, православный, 1.10.1877, Наталия Владимировна Рыбушкина, девица, 22 лет, дочь инженера-технолога, коллежского секретаря Владимира Александровича Рыбушкина. Поручители по женихе: Леонид Павлович Эберман (врач 4-го участка железной дороги при больнице) и сын титулярного советника Николай Николаевич Платонов; по невесте: запасной старший писарь Петр Петрович Иванов и коллежский регистратор Григорий Гаврилович Комаров.

Очень они были счастливы. Просто очень. Правда, дома пришлось добиваться много лет. Мещанин упрямылся, ломил, чуя интерес, несусветную цену, не хотел уступать молодому доктору – а ведь, кажется, Алёша быстро стал в городе уважаемый человек и детей того же мещанина – таких же унылых и длинноносых, как папаша, – исправно пользовал от нескончаемых детских хворей. Почему ты не можешь ему пригрозить? – спрашивала Туся сердито. – Скажи, что не станешь их всех лечить! Тем более за такие деньги! Алёша кричал, весь красный – не смей так говорить! Лечить – это мой долг! Я никому не имею права отказывать! Гневливый он оказался страшно, да и она тоже была хороша, совсем собой не владела, так что первые три года после свадьбы они ссорились даже чаще, чем с Анечкой; Туся и посуду колотила со зла, ночью только и мирились. Спасибо маменьке – научила, что, как бы оно там днем у вас ни случилось, каждый раз ложись вечером с мужем под одно одеяло. И всё к утру само собой наладится.

Так и выходило. А потом и ссориться сами собой перестали.

Чернавский Иван Алексеевич, 23.1.1880, сын врача Алексея Ивановича Чернавского и его законной жены Наталии Владимировны. Восприемники: кандидат естественных наук Борис Акинфиевич Сколов, дворянин Тамбовской губернии Алексей Васильевич Новосельский и дворянка Петербургской губернии Елеонора Ивановна Лапшинская (метрич. кн. Архангельской церкви).

Ваничку Алёша принимал сам и так намучился, что Туся своей муки почти и не запомнила, только переживала всё, что Алёша вторую ночь без сна да всухомятку, а сам даже с кухаркой управиться не умеет. Ты бы распорядился насчет горячего, Алёша, да поспал хоть часик, – просила она, – а со мной Катерина Григорьевна посидит. Но он и слушать не хотел, так и не отошел от ее постели, так что Туся, то задремывая, то снова мучительно карабкаясь на гору громадной горячей боли, все двое суток видела рядом Алёшино перепуганное, потное, рыжеватое лицо.

После женитьбы, начав практику, он отпустил нежную ржаную бородку – хотел казаться старше, солиднее, сообразно состоянию и званию врача, но всё напрасно, ничего не помогало, до самой смерти так и пробегал в мальчиках, даже не поправился ничуть, хотя по пятку битков съедал за раз запросто. Так и похоронили в студенческой тужурке – и все пуговички застегнулись. Туся сама застегнула, одну за одной. Каждую протащила в петельку. Огладила на груди, нашарила в кармане сухой жениховский еще листик из Летнего сада. Подорожник. Подумала и положила обратно.

И вся жизнь сразу остановилась.

А в 1881 году они наконец переехали в новый дом, и всё пошло, как мечталось, – даже шторы. Только сирень не бралась – болела, торчала за забором жалкими прутиками, и как ни старалась Туся, как ни билась, из Москвы даже выписывала руководства по разведению сада, а всё не получалось желанного праздничного цветения. Туся на третий год совсем было решила извести капризные кусты, договорилась даже с дворником, чтобы выкорчевал их в осень, по первому морозу, как сирень, словно испугавшись, дружно и разом прыснула, щедро перекинувшись через забор на улицу – вся в мареве крепкого аромата, синяя, лиловая, даже белая, в десяток сложных, полупрозрачных, как будто восковых лепестков. И тут же, словно сирень забрала себе все силы их дома, посыпались несчастья: одного за другим они с Алёшей схоронили родителей, так что двух лет не прошло, а они оказались совсем одни, будто на краю обрыва, который раньше заслоняли надежные, крепкие, такие родные спины. Туся с той поры даже запаха блинов слышать не могла – попробовалась на бесконечных поминках на всю оставшуюся жизнь.

А потом, за день до Тусиного дня рождения, случилось самое страшное.

Чернавский Иван Алексеевич, † 14.7.1885, от коклюша, 5 лет 7 месяцев, сын потомственного дворянина Алексея Ивановича Чернавского. Похоронен 17.7.1885 на Крестовоздвиженском кладбище (метрич. кн. Богаделенской церкви).

Ваничка. Ваничка. Ваничка. Ваничка. Ваничка. Ваничка. Ваничка.

Как они не разошлись тогда – одному Богу ведомо. Туся была такая, что думали – умом тронется непременно или руки на себя наложит. Без нее даже хоронили – она как в беспамятстве была, всё сидела в Ваничкиной комнате и переставляла по столу нюрнбергских оловянных солдатиков. Ать, два! Ать, два! Коротким коли! Ваничка, сражаясь с непослушной взрослой речью, говорил – койётким койи.

Только грамоте начали. Только сулила котенка да канарейку. Целовала на ночь. Только дула на ссаженную, в густой кровавой росе коленку. А что мы приложим Ваничке? Правильно! Подорожник!

В винах, где наказание должно превышать сто ударов и где виновной должен быть прогнан сквозь строй, полковой начальник сделанное письменное следствие посылает наразсмотрение бригадному командиру, который и определяет экзекуцию, но не больше как раз сквозь тысячу или два раза сквозь пять сот. При всех экзекуциях всегда должен быть лекарь, который смотрит, чтоб наказание не было опасно для жизни виновного и за то отвечает.

Генерал-лейтенант граф Воронцов г. Калиш, 1 апреля 1815

Ать, два! Ать, два! Коротким коли! А дедушка, в 12-й пехотной дивизии у графа Воронцова служивший, рассказывал, что всё равно запарывали до смерти.

Мамаша, ложились бы вы спать, честное слово! Или до свету собираетесь сидеть? Ну сидите, не жалко. Есть-то не хотите? Чего головой трясете? Голодная? Нет? Ну и слава богу!

Через два года взяли в приюте светлоголовую девочку восьми лет – некрасивую, убогую. При ходьбе приволакивала ножку, сломанную в родах неловким акушером, смотрела снизу, исподлобья, испуганно – нисколько не жалко. Плод роковой страсти оступившейся прачки. Аннушка, пирожок хочешь? А яблочков? Кивала и мелко-мелко, как мышонок, вгрызалась зубками. Туся ее ненавидела. За то, что выжила из Ваничкиной комнаты всё родное. За то, что не пахла. Вообще не пахла – никак. Разве что мышами потянет от круглой белесой макушки. А вот Ваничка... Туся отталкивала вскрикнувшую чашку, вскакивала, шла по рыдающим валким комнатам, наталкиваясь на испуганную мебель, дверные косяки. Кресла и банкетки жались по углам, расползались от нее, как живые... Все, все кругом были живые, кроме него!

Это ты, ты виноват! Ты его не вылечил! Других детей лечишь, а своего!

Туся чувствовала, как дергается веко, как напрягаются от крика какие-то глубокие горловые хрящи, и горячей волной, снизу вверх, вздыбливая невидимые дикие волосы, поднимается по позвоночнику невозможное, неостановимое, как рвота...

Вот оно!

Ненавижу тебя, ненавижу, ненавижу!

Успокаивалась она только после морфия, соскальзывала, засыпая, в призрачный лопочущий сад своего младенчества, где не было ни Алёши, ни Ванички, ни боли – ничего, только заросли огненных бархатцев да богородский медведик на подставке, беззвучно тюкающий крошечным топором в такт Тусиному сердцу. Тюк-тук. Тюк-тук.

Второго укола не будет, – твердо говорил Алеша, убирая остро звякнувший шприц.

Слава богу, он всё это выдержал. Не развелись.

Через год стало легче. Через два – еще чуть-чуть, словно Туся тянула по колдобинам громадный воз сена, цепляясь за заборы, за столбы, ухая то в лужу, то в колею, и незаметно оставляя там – клочок, тут – охапку, так что ноша стала сперва посильной, потом привычной, а кровавые ссадины на коленях и плечах превратились в бесчувственные, почти костяные мозоли. Жили втроем – и каждый сам по себе. Аннушка, так никому и не нужная, Туся и Алёша, совсем ушедший в своих больных. Всё боролся с холерой, писал записки об устройстве отдельной лаборатории, хлопотал, даже в Петербург ездил.

Ничего не сохранилось. Жалко.

Но ведь ничего и не вышло у него. Только умер раньше срока, даже седины не нагулял, а вот Туся рано поседела, да так некрасиво – космами. Сирень в том году рано взялась, пахла

– стеной прямо. И Туся казалось, что даже воздух вокруг дома от этого запаха сиреневый, густой, грозовой. Откроешь окна – и как кисель нестерпимо сладкий в комнате. А закроешь – душно. Алёша сидел за воскресным столом, возил ложкой в ботвинье с белорыбицей, слушал Аннушкину болтовню – ей уж шестнадцать было, дебелая, как баба, безмозглая, в гимназии по два года в каждом классе сидела, – и выгнать бы, но уж очень Алёшу уважали. Слушал и всё лоб себе тер, собирал в складки, то белое под пальцами, то красное, и ботвинья в ложке тоже – красная, густая... Голова болела у него. А тут еще эта сирень.

Туся не выдержала, встала – всё, никаких сил больше нет, вырубим завтра же! – закрыла, сражаясь с упругими золотистыми шторами, одно окно, другое, на третьем Аннушка завизжала так, что рама в ужасе рванулась из Тусиных рук. Туся зашипела, засунула ободранный палец в рот и только тогда обернулась. Алёша лежал на полу ничком, и даже по затылку его, милому, рыжему, с проплешинкой, было ясно, что всё кончено, вообще всё, а по столу текло из опрокинутой тарелки – красное, густое, и такое же красное и густое было у Туси во рту, а потом это красное и густое смешалось с сиреневым, и Туся быстро пошла прочь, а потом побежала, и еще побежала, пытаясь обогнать нестерпимый Аннушкин визг, пока не оказалась в буфетной, у огромного шкафа, где хранились под ключом (больше от Аннушки, чем от прислуги) сласти – конфеты в жестянках, развесные мятные пряники, засахаренные орешки, вчерашний подсохший по краям пирог под круглой, шапочкой, сеткой...

Ключа в кармане не оказалось, и Туся просто выломала дверцу и всё закидывала, закидывала в рот всё подряд, пока не сложилась пополам от приступа рвоты. Но и тогда кровавый привкус во рту никуда не делся. Дворник потом только головой качал, прилаживая с мясом вырванные петли. Это ж какую силищу надобно, барыня! Я б и то так не сумел. Замок-то новый врезать будем? Туся махнула рукой – нет, не надо. Ничего не надо. Идите. Идите! Всё, идите!

Чернавский Алексей Иванович, † 1.06.1895, от удара, 41 год, потомственный дворянин, врач. Похоронен 3.06.1895 на Крестовоздвиженском кладбище (метрич. кн. Богаделенской церкви).

...доверенный вдовы Чернавской Наталии Владимировны поверенный Александр Прокопьевич Никаноров... и мещанин Тимофей Осипович Телегин... в сопровождении лично мне известных свидетелей: мещанина Гаврила Ивановича Иванова, купца Созонта Васильевича Колесникова и мещанина Ивана Николаевича Попова... С объявлением, что они, Чернавская и Телегин, совершают купчую крепость на следующих условиях: я, доверенный вдовы Чернавской Наталии Владимировны поверенный Александр Прокопьевич Никаноров, продал ему, мещанину Тимофею Осиповичу Телегину, собственно моему доверителю принадлежащее недвижимое имение, заключающееся в доме по Архиерейскому переулку... а взял я, Никаноров, в пользу доверителя с него, Телегина, за сие проданное имение 5 750 рублей.

Жизнь продолжала смеркаться. По ночам Туся вставала, бродила по призрачным комнатам, ничего не узнавая – обживать новое не было ни желания, ни сил. Успокаивалась только в кладовой – на кухне спала кухарка, туда было нельзя, стыдно, пока еще стыдно. Еда приносила облегчение – короткое и грубое удовольствие. Облизывая пальцы, чавкая, жуя, проглатывая огромные куски – без разбору, телятины, хлеба, сморщенных, сухих, предназначенных для компота груш, – Туся снова чувствовала себя живой, кровоплотной. Еда запускала ее, как механизм, гнала кровь по венам, Алёша помнил, как они называются, все до одной, до самой малой жилочки; Ваничка этой кровью когда-то жил, рос у нее внутри, она словно питалась ими, своей любовью, она снова жила. Но еда заканчивалась, заканчивались силы, и снова при-

ходила обида, нестерпимая, низкая, дергающая, – так болит только глазной зуб, ужасный, едва помещающийся в измученном рту.

Почему всё так? За что? Чем она виновата?

Туся расплнела – быстро, безобразно: одеваться было не для кого, не для кого просыпаться, не с кем ложиться спать. Она не сразу заметила, что слепнет, – просто мир вокруг словно порыжел, побурел, а потом медленно начал заворачиваться по краям, словно засыхающий лист подорожника. Конец века, начало следующего, одна революция, вторая, мировая война – всё прошло мимо, не замеченное, никому не нужное, неважное.

Зимой 1918 года она была еще жива, но сама уже вряд ли помнила об этом.

Милая моя Туся. Милая моя Туся. Милая моя Туся.

А чего это вы в холоду таком сидите, мамаша? Хоть бы позвали! Печка погасла давно. Ладно, ладно, сейчас затоплю. Аннушка грохнула кочергой и вышла, подталкивая впереди себя любопытствующую соседку. Топи-ить? Да на что ей, колоде бессмысленной? Цельную ночь сидит! Ты подумай! Этак ты на нее дров никаких не напасешься. А на что мне дрова? У нее бумажек да книжек – на всю войну напасено. Жги не хочу!

Аннушка ловко отобрала у старухи большую шкатулку. Пустите, мамаша. Пустите, кому говорю. Я счас назад вам игрушку вашу верну. И точно – вывернула в печку последние листочки Тусиной жизни и вернула.

Туся вцепилась в шкатулку грязными опухшими пальцами, ощупала, прижала к себе. Мамино. Мама. Мамочка моя. Ваничка. Алёша!

Милая моя Туся!

Если сможешь, раздобудь пятую книжку “Русской старины” за прошлый год – там, в очерках Арсеньева, есть про прапрадедушку Андрея Фомича! Если вдруг не найдешь, высылаю выписанное.

“14-го января 1678 года новоприезжий доктор Андрей Келлерман представился в Аптекарском приказе начальникам его: боярину князю Никите Ивановичу да кравчему с путем князю Василью Федоровичу Одоевским и дьяку Андрею Винуису, и ему был произведен, через толмача, допрос, где и чему он учился? И молодой доктор ответил: «Отпустил меня отец мой, торговый иноземец Томас, для докторской науки за море, и я был в Цесарской земле в городе Лейпциге шесть лет и учился докторской науки, да в городе Страс-бурге три же года был в науке, да в голландской земле, в городе Лейдене, – два года, в английской земле в городе Оксфорде и во французской земле в городе Парисе – полтора года и наконец в Италии, в городе Падуе, в знаменитой Падуанской академии – два года, где и был учинен доктором и получил диплом за подписями учителей и за тремя висными печатями красного воска в красных кожаных ковчежцах»”.

Целую тебя, милая моя, родная! Жди, на той неделе, даст бог, буду дома.

Любящий тебя Алексей

В голландке, маленькой, ладной, бело-голубой, жадно полыхнуло. Красные кожаные ковчежцы радостно вспыхнули, и по пламени прошлась маленькая разноцветная радуга.

Теперь тепло, мамаша?

Наталья Владимировна Чернавская, урожденная Рыбушкина, шестидесяти трех лет от роду, потомственная дворянка, любящая дочь, нежный, сердечный мой друг, скорбящая мать, неутешная вдова, скверная мачеха, православного вероисповедания, лютеранка по совести, убежденная теософка по глупой молодости, ныне разуверившаяся атеистка, господи, ибо и на то была воля Твоя, грузная, неопрятная, незрячая, милая дорогая Туся в белом (с прошивками) платье, рвущая вишню в солнечном, полном медного птичьего гомона барском саду, ничего не ответила.

Да, теперь ей наконец-то было тепло. Глаукома, когда-то бывшая просто надоедливый пятном чуть справа, почти у горизонта, сузила видимый мир сперва до тоннеля, потом до прорехи и наконец до игольного ушка – и теперь вдруг оказала ей последнюю милость. Сквозь микроскопическую прореху на мгновение прорвался свет, но и его, этого бледного, словно измученного света, оказалось так много, что Туся была счастлива. Только теперь, почти совершенно слепая, она вдруг увидела свою прежнюю жизнь с такой удивительной, радостной ясностью, с какой не видела прежде никогда.

И жизнь эта была прекрасна, по-настоящему прекрасна.